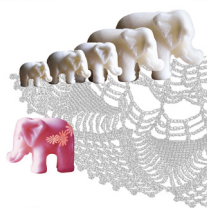


АННА БОГДАНОВА
МОЛОДОСТЬ
БЕЗ СТРАХОВНИ



 Такая женская любовь

Анна Владимировна Богданова
Молодость без страховки
Серия «Такая смешная любовь»

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=161330
Богданова А. Молодость без страховки: Эксмо; Москва; 2007
ISBN 978-5-699-23969-6

Аннотация

Кто бы мог подумать: жизнеописание простой русской женщины настолько заинтересовало лондонского воротилу бизнеса, что он предложил издать ее мемуары в Англии! Писательница Дроздометова так обрадовалась этому, что третий том ее воспоминаний получился особенно смешным и остроумным. О чем он? О молодости! Когда она была такая красивая и... такая одинокая! Правда, кавалеров вокруг Авроры вертелось с избытком, но каких – просто цирк: один на сорок лет ее старше, другие хоть и помладше, но со своими недостатками в виде жен, любовниц и с настолько дурными привычками, что связывать с подобными типчиками свою жизнь Аврора не хотела ни за какие коврижки! Однако когда на горизонте появился загадочный Михаил Ягуаров, ее сердце дрогнуло...

Содержание

Анна Богданова	4
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Анна Богданова

МОЛОДОСТЬ БЕЗ СТРАХОВКИ

«Салфет вашей милости! Это снова я – верная своему читателю Аврора Владимировна Дроздомётова! Уж в третий раз имею честь приветствовать вас, поскольку человек я, как вы уже, наверное, поняли, обязательный и ответственный – раз обещала написать продолжение своих воспоминаний, значит, не пустыми были мои посулы. Сами убедитесь, когда прочтёте эту книгу.

Что сказать о себе?.. Что произошло со мной за последние дни? Ничего особенного. Могу лишь повторить для новой армии моих читателей, что мне пятьдесят один год, что никак не оставит меня в покое проклятуший климакс, что я, снедаемая одиночеством, рискнула-таки, следуя совету своей дочери, сесть за ноутбук прошлой весной и начать писать мемуары.

Если б жизнь моя не была столь насыщенной – иногда трагичной, а порой комичной и интересной, я ни за какие коврижки не взялась бы за перо! Ни в коем случае! Но поверьте, многоуважаемые читатели, мне есть что сказать! Мало того, пару дней назад я завершила работу над вторым томом своих воспоминаний и вот – без передышки уж взялась за третий! «Почему?» – спросите вы. Да потому что из меня (уж простите мою нескромность) бьёт настоящий словесный фонтан! Хотя... Может, и потому, что я панически боюсь раннего склероза. Как же я поведаю о своей бурной, интересной жизни, если в один день вдруг потеряю память?» – Аврора Владимировна, испугавшись своего предположения о потере памяти, оторвала взгляд от экрана портативного компьютера, откинулась на спинку чёрного высокого крутящегося кресла из кожзаменителя, которое купила несколько месяцев назад вместе с роскошным письменным столом цвета радика, и задумчиво посмотрела в окно.

Потом, перечитав начало третьего тома мемуаров, она не то что осталась им довольна, нет! – на неё вдруг впервые за всё время литературной деятельности нахлынула волна гордости и уважения к самой себе. Не напрасны были её утренние творческие муки, искания и метания по поводу первого абзаца текста, ох не напрасны! Дело в том, что наша героиня до глубокой ночи терзалась вопросом, как бы ей так поприветствовать читателя, чтобы не повториться. В первом томе жизнеописания она поздоровалась по-простому, написав «здравствуйте» с восклицательным знаком. Во втором – она несколько игриво пожелала пока несуществующим поклонникам своих книг «добренького здоровья». Понятно, что лишний раз пожелать читательской аудитории здоровья никогда не помешает, но Аврора Владимировна внезапно почувствовала, что сей том необходимо начать иными словами. Заговорил в ней вдруг настоящий писатель – требовательный к себе, не терпящий и не допускающий в творчестве никаких поправок и повторов.

Всё утро она рыскала по словарям, пытаясь найти подходящее приветствие для любимого читателя, которого, как выше сказано, ещё и в помине не было, поскольку ни первый, ни второй том наша героиня не сумела пристроить ни в одно издательство Москвы.

Куда она только не смотрела! И во всевозможные энциклопедии, и в толковые словари. Даже в русско-немецкий разговорник забралась, нашла «гутен таг» и хотела было уж оригинальничать, пожелав читателям доброго дня на языке великого Гёте... Вполне возможно, что именно так и начиналась бы эта книга, если б в последнюю минуту взгляд Дроздомётовой не упал на замусоленные тома «Толкового словаря живого великорусского языка» В.И. Даля. Именно в нём, в этом кладезе премудрости, она и откопала странное, давно вышедшее из употребления словечко времён Петра Первого, не слово даже, а приветственное выраже-

ние – «салфет вашей милости», что в переводе на современный русский язык означает «моё почтение», а слово «салфет» всего-навсего калькируется как «салют».

– Нестандартно, просто и со вкусом! – воскликнула Аврора Владимировна, возбуждённо вертя в руке шариковую ручку.

Перечитав, смакуя, написанный абзац во второй раз, она отметила не только значительные перемены в стиле, уверенность пера и точность используемых слов, но и то, что слова эти каким-то совершенно загадочным, непостижимым образом, казалось, сами собой, без всяких усилий с её стороны, вставали на нужные места – на те, где и должны были бы быть. Ощувив в душе чувство глубокого удовлетворения, Аврора Владимировна взглянула на часы и, вскочив из-за стола как ошпаренная, наскоро сохранила «документ». Выключив компьютер, она заметалась по квартире.

– Успею, успею. Я всё успею, – успокаивала она себя, натягивая колготы на белые складные ноги. – Сумка собрана. Подарок положила. Только одеться и нанести лёгкий макияж, чтоб Бубышеву не испугать. Успею, я всё успею.

Аврора Владимировна так увлеклась творческим процессом, что не заметила, как пролетел день. Глядя полчаса назад в окно, она настолько была погружена в собственные мысли, что не обратила ни малейшего внимания на круглую луну, висевшую над башенкой недавно построенного высотного дома, который до некоторых пор раздражал и выводил её из себя – однако чем больше она работала над мемуарами, тем больше он нравился Авроре Владимировне, будоража её воображение. Часто Дроздомётовой казалось, что никакой это не многоэтажный дом, а готический замок, возведённый давным-давно (когда её и самой-то на свете ещё не было) на скале, над бездонной, пугающей пропастью (просто эту пропасть не видно из её окна). В замке том вот уж несколько веков подряд живёт уродец – этакое страшное, прмерзкое чудовище, променявшее свою красоту на бессмертие. Живёт – небо коптит и держит в заточении прекрасную девушку, которая нашей героине представляется почему-то очень похожей на неё саму в молодости. Хрупкая, с тонкой талией, густыми пшеничными волосами, затянутыми в конский хвост на макушке... У бедной невольницы такие же, как у Авроры в юности, чувственные, не тронутые помадой нежные губы, большие, печальные, будто вечно плачущие глаза – тёмные, с поволокой, почти чёрные, с голубыми белками. Брови вразлёт, тонко чувствующие и выражающие то досаду, вскинувшись, подобно крыльям чайки, то напряжение, едва уловимо сосредоточившись над переносицей, отчего между ними мгновенно появляется чуть заметная, придающая особую прелесть лицу нитевидная вмятинка... И породистый нос с маленькой, почти незаметной горбинкой, который никогда не нравился ей самой, но приводил в восторг всех её многочисленных поклонников.

Уродец требует от пленницы страстной любви, но та сопротивляется, ничего не ест – только пьёт холодную колодезную воду, держится изо всех сил, а беспощадный хозяин замка раздражается оглушительным смехом, настаивая на своём:

– Всё равно моя будешь! Поняль? Да?

И практически всегда в сознании Авроры Владимировны происходит странное смещение образов. Если в девушке она видит себя, то в чудовище – некоего Эмина Ибн Хосе Заде – самого, пожалуй, настойчивого и упорного своего воздыхателя. Автор неспроста отвлёкся на эту фантазию героини, отфильтровав её от множества других, кишмя кишевших в голове мадам Дроздомётовой, поскольку именно об Эмине Ибн Хосе Заде пойдёт речь в нижеследующем романе.

Однако что-то мы удалились от темноты за окном, от звёздного неба и луны, висящей будто на невидимой рыболовной леске над башенкой недавно отстроенной многоэтажки. Лишь случайно взглянув на часы, Аврора Владимировна вернулась в реальность – вернулась и ужаснулась, поскольку опаздывала на одиннадцатичасовой поезд, который к завтрашнему утру должен был доставить её вместе с давней приятельницей Вероникой Александровной

Бубышевой в захолустный городишко центральной полосы России, куда шесть лет назад бежала из столицы Арина – единственная дочь нашей героини. Именно бежала (по-другому не скажешь) от несерьёзных ролей в детском театре, где играла мышат да зайчат, от суеты, от бывшего мужа, который, кстати, изображал в том же детском театре всё больше козлов и ослов, пока не стал режиссером.

Аврора Владимировна, купив месяц назад вожделенный комплект – золотые серьги и кольцо с насыщенно синими сапфирами, положила их ещё вчера в пурпурную бархатную коробочку и, щёлкнув замочком, замотала её в лифчик, спрятав среди белья в дорожной сумке цвета топлёного молока. Наша героиня представляла, как после премьеры спектакля «Горе от ума», в котором заглавную роль Чацкого играет её дочь, ради чего Дроздомётова, собственно, и покидала насиженное рабочее место, она торжественно вручит Арине заветную бархатную коробочку.

Сунув руки в рукава тончайшего кожаного плаща оттенка горького шоколада с богатым песцовым воротником, переходящим в отделку до подола, зашнуровав сапожки на девятисантиметровых устойчивых каблуках, Аврора Владимировна пронеслась смерчем по двухкомнатной квартире мужа – Сергея Григорьевича Дроздомётова, который, к слову сказать, был старше её на четырнадцать лет и давным-давно из-за проблем с лёгкими переселился в деревню Качаново, что раскинулась на краю тёмного, страшного соснового леса «...ской» области в трёхстах километрах от Москвы, и носа в столицу не кажет. Только раздражает жену регулярными телефонными звонками из близлежащего посёлка городского типа, куда раз в неделю выезжает за продуктами.

– Приезжай немедленно! Жена ты мне или нет, в конце-то концов! – вечно кричит он. На что Аврора Владимировна отвечает всегда возмущённо, с некоторой долей непонимания и недоразумения в голосе:

– Да что мне в твоём Качанове делать?! В этой глуши, в избушке на курьих ножках на окраине тёмного леса, где показывают всего две программы телевидения и нет телефона?! Мне – творческому человеку?!

Изредка, конечно, Дроздомётова навещает мужа – наведёт порядок в его берлоге, бельё перестирывает, подкормит его и вылетает оттуда пробкой, обратно в Москву, к письменному столу, к своим воспоминаниям...

К тому же отношения супругов давно уж достигли критической точки. Аврора Владимировна не раз делилась в своих романах с пока ещё несуществующими их читателями, а может, лишний раз напоминала сама себе: несмотря на то что Дроздомётов уж давно не в состоянии исполнять супружеский долг, он всю пристает к качановским бабкам. И хоть ей от мужа ничего не надо в сексуальном отношении (не лезет – и слава богу!), но смотреть на его козлиный флирт с деревенскими пенсионерками – удовольствие не из приятных. Посему, обидевшись на Сергея Григорьевича и обвинив его во всех смертных грехах, Аврора Владимировна наспех собирает вещички и в очередной раз, к великому разочарованию мужа и своей неопишуемой радости, бежит в Москву, в цивилизацию, к любимому, хоть и старенькому ноутбуку.

Итак, проверив, всё ли выключено (свет, газ, вода), всё ли закрыто (балконная дверь и форточки), она вышла из дома и отправилась на вокзал, где в купейном вагоне номер три её уж поджидала давнишняя приятельница Вероника Бубышева, что напросилась несколько дней назад поехать вместе с ней на премьеру спектакля «Горе от ума» – мол, приобщиться хочу к высокому искусству – так аргументировала своё желание Бубышева. Но потом призналась – не в силах она больше сидеть в четырёх стенах, не в состоянии она ждать звонков от любимого бывшего мужа Лариона.

– Мне лишь бы за кем ходить... Всё равно куда... – жалостливо просила Вероника. – Я люблю хвостиком... – после чего доброе сердце Авроры Владимировны растаяло, перепол-

нилось сочувствием к Бубышевой, и она предложила ей поехать в захолустный городишко на премьеру бессмертной комедии А.С. Грибоедова.

Тут автор позволит себе сказать несколько слов о Веронике Александровне Бубышевой.

Это глубоко несчастная женщина, любимым занятием которой в её шестьдесят с небольшим лет стало лежать в кровати и перекатываться с одного бока на другой, засыпать под орущий телевизор и поглощать шоколадные изделия в неограниченных, в просто-таки неконтролируемых количествах. Горе её было зарыто в далёком 1992 году. В то роковое лето от неё ушёл любимый муж Ларион, с которым они прожили душа в душу двадцать лет – ушёл к другой женщине. Не сказать, чтоб уж очень молодой, красивой или богатой, так, ничего особенного. Просто та как-то случайно забеременела от него (именно так он всё и объяснил супруге)...

Что только не делала Вероника Александровна, чтобы вернуть мужа! – она и травила, и привораживала любимого у всех гадалок, какие только промышляют этим «искусством» в Москве и Московской области, и сознательно пошла несколько месяцев назад на липосакцию передней брюшной стенки, дабы заполнить его обратно.

Но ничто не помогало ей в отчаянном, нездоровом рвении возратить Лариона. Гадалки, на которых она потратила всё своё состояние, судя по результату (вернее, по отсутствию оного), оказались аферистками и пройдохами. Если до липосакции живот Бубышевой при определённых усилиях втягивался внутрь, то теперь он торчал колом и не убирался, несмотря на титанические старания с её стороны. А буквально три дня назад Бубышева подвиглась на полнейшее и бесповоротное удаление усов, которые, как ей казалось, слишком уж буйно произрастали у неё под носом. Если верить Веронике Александровне, усов, которые раздражали, бесили и выводили её из себя, на сегодняшний день действительно не наблюдалось – вместо них под белой, широкой полоской бактерицидного отечественного пластыря была кровавая корка.

Именно к ней, к давней приятельнице своей, неслась как очумелая наша героиня, перебежавшая через блестящие в темноте октябрьские лужи, отмахиваясь нераскрытым зонтом от крупитчатого редкого снега и носимых взад-вперёд порывистым ветром сорванных с деревьев жухлых листьев, которые так и не успели как следует пожелтеть и уж тем более побуреть.

* * *

Из пассажирского поезда дальнего следования, что остановился на три минуты у безлюдной, будто вымершей платформы, вышли четыре человека. Две женщины из третьего вагона. И двое мужчин – из пятого.

Что касается женщин, то слово «вышли» вряд ли может подойти к их появлению на перроне, ибо одна из них – та, что поизящнее, помоложе – ещё весьма привлекательная дама, пятясь задом, буквально выкатилась на улицу, подобно бильярдному шару, летящему в лузу, приземлившись своей пятой точкой на раздутую сумку цвета топленого молока. Состав уже вздрогнул, дёрнулся, но её спутница всё никак не решалась прыгнуть: одна её толстенная нога, сравнимая лишь со слоновьей конечностью, будто окаменелая, стояла на ступеньке поезда, другая, нервно дрожа, пыталась нащупать твёрдую землю. Бедняжка несколько секунд расплзлась на две части, неприлично раскорячившись. Разрываясь между платформой и вагонными ступенями, тучная дама вдруг прочувствовала на собственной, как говорится, шкуре, в каком состоянии находился вот уж более десяти лет её бывший муж, деля себя между ней и второй женой с сыном. Он боялся, как бы она снова не решилась травиться снотворными таблетками.

Она в ужасе закрыла глаза и заголосила, не помня себя:

– Ой! Мама рóдная! Помираю! – но в этот момент спутница, уже поднявшаяся с земли, схватила её за руку и со всей силы дёрнула к себе.

– Ну что?! Вот что ты делаешь?! – возмутилась дама со слоновьими ногами. Она сидела на мокром асфальте – рядом валялась потёртая кожаная сумка.

– Давай, давай, поднимайся!

– Ага! Как же! И не подумаю! – воскликнула подруга, насупившись.

Мужчины из пятого вагона, оживлённо разговаривая, не обратили ни малейшего внимания на попутчиц. Один из них – тонкий, светловолосый, бледнолицый, в чёрном пальто, с торсом, устремлённым вперёд, быстрыми шагами направился в сторону билетных касс. Второй – толстый, кудрявый, в синей куртке, задыхаясь, бежал за ним, весь обвешанный сумками, выкрикивая что-то на незнакомом языке.

– Поднимайся! – кричала дама, что помоложе.

– Нет!

– Ну и сиди тут до посинения! – разозлилась изящная дама и хотела было уйти, но, посмотрев на приятельницу, залилась звонким смехом.

– Очень смешно! Конечно! Что смешного? Что я себе все кости из-за тебя переломала? Да? – спросила толстуха.

– Кости! Ха! Ха! Ха! – схватившись за живот, выдавила из себя изящная.

«Какие кости?! Откуда у тебя кости?! Один жир сплошной! Там до костей не докопаться!» – чуть было не ляпнула она и, взглянув на белую ровную полосу бактерицидного отечественного пластыря над верхней губой подруги, отвернулась, давась от смеха.

Как, наверное, уже догадался многоуважаемый читатель, эти две почтенные дамы, что так эффектно появились на перроне богом забытого городишки, были наши давние добрые знакомые. Та, что помоложе да поизящнее, – писательница всех времён и народов (коей она сама себя считала), не издавшая ещё ни одной книги своих мемуаров – Аврора Владимировна Дроздомётова. Другая – полная и бесформенная – её приятельница Вероника Александровна.

Наконец, перекатываясь с одного бока на другой, ёрзая и вытирая мягким местом неровный, с выбоинами асфальт, Бубышева с горем пополам поднялась на ноги.

На перроне вдруг появился народ.

Мужчина неопределённого возраста стоял в луже, глядя вслед ушедшему к морю поезду. Он был одет в короткий грязно-серый плащ пятидесятих годов в тонкую, почти стёртую от времени и носки клетку, из-под которого выглядывали ноги в женских тренировочных штанах василькового цвета и желтых кожаных сандалиях... Жирную точку в его образе ставила чёрная засаленная шляпа-котелок а-ля Чарли Чаплин.

Следом выкатилось на платформу настоящее чудо без пола и возраста ростом метр тридцать, шириной метр двадцать, со вторым подбородком, лежащим на груди, в замасленной куртке цвета помойного контейнера. Оно поставило под навес на попа бочку и, водрузив на неё трёхлитровую банку с семечками, приняло облик делового, выдавшего виды коммерсанта.

Ещё одно... Нет, не чудо. Скорее чудовище, похоже, мужского пола, со щеками, покоившимися на воротнике байковой куртки от пижамы, с синей физиономией в рытвинах (видать, от перенесённой в детстве ветрянки) и букетом вялых, подмороженных, словно опалённых с боков разнопёрых астр.

– Хупите свитошхи! Хупите! – подойдя нетвёрдой походкой к только что прибывшим, просвистел он.

– Почём отдашь? – поинтересовалась Аврора Владимировна.

– За полтинник, – жалостливо простонало чудовище.

– Четвертак! – торговалась Дроздомётова.
– Пошли! Зачем тебе цветы? – Вероника потянула её за рукав.
– Как – зачем? У Аришки сегодня премьера! Где ещё в этой дыре я цветы найду?!

– Свитощи-то хорошие! Восьмите за трисатник!
– Держи двадцать пять рублей и ступай с богом! – Аврора Владимировна сунула «цветочнику» деньги и, выхватив астры, засуетилась. – А где бы нам тут такси поймать? В этом городе вообще есть такси? Эй! Любезный! Не подскажите? – спросила она у мужчины в котелке.

– Уехал, – печально вздохнул тот, последний раз посмотрев вслед вильнувшему хвосту поезда, и пошёл прочь, так и не ответив на вопрос нашей героини.

– Дурдом какой-то, а не город! – возмутилась Дроздомётова. – Ника! Как ты думаешь, это баба или мужик?

– Где?

– Да вон, семечками торгует!

– Мужик!

– Уверена? – усомнилась Аврора Владимировна.

– Конечно, мужик!

– Мужчина! Мужчина! Вы не подскажите, где тут у вас стоянка такси? – подлетев к «чуду», спросила Дроздомётова.

– Никакой я не мужчина. Меня бабой Марусей тутошние все зовут. А таксе у нас одно в городе. За вокзалом стоит, – вяло объяснила баба Маруся и предложила дамам купить у неё семечек.

– Не нужно нам никаких семечек! – пробасила Вероника Александровна – она хоть и не курила никогда в жизни, но голос имела грубый – чисто труба иерихонская.

– Спасибо, – промямлила Аврора и направилась к «стоянке» такси, где ждала неизвестно кого одна-единственная машина.

Тут автор считает нужным сказать несколько слов о вокзале и о самом городе.

Вокзал (если не считать его оригинальной покраски по случаю начавшегося месяца назад ремонта) был самым обыкновенным для сотен городов, что рассыпались бисером по родной нашей России-матушке.

Все вокзалы провинциальных, милых сердцу каждого русского человека городков одинаковы: с виду новенькие, отреставрированные на скорую руку для поверхностных, мимолётных взглядов пассажиров, стремящихся неизвестно куда... Будто только что вылупившиеся из яйца (если, конечно, богатая фантазия позволяет вам вообразить вокзал, вылупившийся из этого символа жизни) здания, изо всех сил пытающиеся стоять гордо, являющиеся, как правило, главными сооружениями во всей округе. Обыкновенно вывески с названием города на них красуются лишь для отвода глаз – новенькие, беленькие, с буквами – настолько малюсенькими, что проезжающие вряд ли сумеют различить их из окон поезда. «Ага. Остановка. И вывеска вроде на месте», – подумает незадачливый путешественник. А что там на этой самой вывеске написано?... Да какая разница! Рассматривать – только глаза портить! Не о том думает вояжёр, проезжая мимо неизвестной станции. «Надо же! – крутится в его голове. – И здесь люди живут! С ума сойти!»

Все эти несколько витиеватые рассуждения о яйцах и путниках неспроста! Ваша покорнейшая слуга ведёт к тому, что никто из проезжающих, как, впрочем, и из вновь прибывших сюда, не обращает внимания на новенькую табличку с мелкими буквами. Лишь случайно, быть может, по недоразумению попав в кольцо этого и в самом деле мифического местечка с иной, отличающейся от столичной, реальностью – настолько, что вас вдруг охватывает престранное чувство, словно вы оказались в другом пространственно-временном измерении, вы станете интуитивно искать, озираясь по сторонам, его название. Но... Как

это обычно бывает, вывеска либо сорвана, либо в ней явно недостаёт некоторых букв, как в этом славном граде, куда дочь Авроры Владимировны много лет назад приехала из столицы, дабы иметь возможность реализовать свой талант, играя в театре не пустые роли мышек и зайчиков, но и проживая, пропуская через себя судьбы леди Макбет, Гамлета, Джульетты или Чацкого, к примеру.

Случайный гость, попавший в черту города, где в драматическом театре служит Арина Юрьевна Метёлкина, и вовсе не имел возможности узнать, куда его, собственно, занесло. Как говорится, «кто успел, тот и съел»: не успел он обратить внимание на блестящую вывеску станции, значит, быть ему в неведении, потому как затянет, засосёт его провинциальное, прошловековое какое-то спокойствие и оцепенение, яко топкое болото.

Не поняла этого и Вероника Александровна, миновав парадный фасад. Долго глядела она, оказавшись на заднем привокзальном дворе, на косо прибитые буквы названия, в котором отсутствовало, по меньшей мере, литеры три. То ли они были унесены когда-то сильным ураганным ветром, неожиданно ворвавшимся в сию тихую заводь, то ли сбиты местными хулиганами, то ли... Да кто ж теперь скажет, куда они подевались?! Размышлять над этим – только время терять.

Итак, как назывался город в действительности, теперь уж вам вряд ли кто скажет, да это, в сущности, и неважно, поскольку он, как и вокзал, был одной из многочисленных копий точно таких же вот городков, каких пруд пруди в центральной полосе нашей многострадальной Родины. Многие известные и уважаемые писатели на протяжении ста пятидесяти лет называли их по-разному – и Глупов, и город N, и Энск, но, поверьте, речь-то шла об одном-единственном граде!

У нас он именуется престранно по причине сбитых местными хулиганами или унесённых ураганом букв. Первая была, несомненно, «о». Следующая отсутствовала. После пробыла шла «с». Потом следовали ещё две утерянные загадочным образом литеры. Завершалось это название окончанием «рань», «н» из которого грозила свалиться не сегодня-завтра.

– Аврор! А что это за город такой?! Осрань какая-то! А? Это что за Осрань такая?

– Это смотря как произнести! С какой интонацией! Ник! Вот ты мне скажи! Как можно поменять Москву на какую-то «срань»? Вот как мне это расценивать? А? – возмущалась Аврора Владимировна, злясь на дочь, которая ради чистого искусства пожертвовала всем – столицей, матерью, даже замуж не желает выходить и детей рожать, дабы не испортить карьеры.

За вокзалом, на забетонированной посреди леса площадке, стояла одна-единственная машина, не имеющая ничего общего с такси. Это был ржавый «Москвич-412» неопределённого, многослойного цвета: из-под основного псиво-серого кое-где проглядывал жизнерадостный апельсиновый, кое-где травянисто-зелёный, бампер же был слегка тронут траурной чёрной краской. Никаких характерных «шахматок» на этой необычной колымаге не наблюдалось – ни по бокам, ни спереди, ни сзади. Вывески, что это действительно такси, тоже нигде не было. Лишь концы синей изоляционной ленты развевались ветром на дверцах.

– Это что, и есть местное такси? – подозрительно пробасила Бубышева, прижимая сумку к груди.

– Сейчас спрошу, – и Аврора Владимировна, подлетев к странной машине, постучала в водительское окошко. Дверца немедленно открылась. На улице появилось... появился... очередной феномен.

«Феномен» был маленького роста – не более ста пятидесяти сантиметров, с горбатым синюшным носом в рытвинах и глазами «в кучку»... Но даже не его нос, не глаза и не рост поразили приятельниц, а странного вида фетровая шляпа. При виде её возникало впечатление, что «таксист», прежде чем надеть её, вдоволь насиделся на ней, после чего чуть ли не

с мылом натянул на голову – будто напальчник на яблоко; поля же этого головного убора ни с чем иным, кроме как с пропеллером, поверьте, сравнить было невозможно.

– Вы и есть такси? – опешила Аврора Владимировна.

– Я – такси, – с нескрываемой гордостью подтвердил «осранец», похлопал с любовью и какой-то неизъяснимой нежностью по своему ржавому «Москвичу» и тут же деловито спросил: – Куда едем?

– В театр! – несколько высокопарно воскликнула Аврора Владимировна.

– Куда, куда? – удивился владелец единственного в городе такси и уставился на Дроздомётову непонимающим взглядом.

– К местному драматическому театру! Вот куда! – с раздражением повторила мать ведущей актрисы.

– Садитесь, – ошалело проговорил таксист. – Надо ж! Ну надо ж! – поразился он. – О как! Ну ладно. С вас полтинник, – заключил он, и «Москвич» с диким звериным рычанием тронулся с места.

– Кажется, в этом городе всё стоит полтинник – и цветы, и такси, и кулёк семечек у той бабы Маруси, тоже, наверное, пятьдесят рублей стоил, – прошептала Дроздомётова приятельнице.

– Ага, – равнодушно сказала та, отвернувшись к окну. Вообще, у Авроры Владимировны складывалось впечатление, что Бубышевой не интересна ни премьера спектакля с участием её дочери, ни поездка, ни новый город, ни сама она – Аврора. Хоть тело Вероники и находилось сейчас в непосредственной близости к ней, душа приятельницы была далеко отсюда – она витала где-то рядом с бывшим мужем Ларионом. Правду говорят: от себя не убежишь. Человек может, покинув родной дом, уехать куда угодно – в другой город, страну, да хоть на край света! Но это не спасёт его от уныния, печали и внутренней скорби. Ведь если задуматься, то окружающий мир – не что иное, как бутафория, среди которой нам суждено играть всю свою жизнь.

Залатанное изоляцией такси двигалось по пустынной дороге со скоростью прогулочного шага взрослого мужчины с длинными ногами. Мимо проплывали бесконечные жёлто-соломенные поля, обрамлённые, словно картина рамкой, золотисто-багряными лесами.

Необъятность, невиданная широта, свобода и такая щемящая красота вдруг открылась взору нашей героини, что ей захотелось выпрыгнуть на ходу из колываги, кубарем скатиться с дороги в пожухлую октябрьскую траву, потеряться в сизо-голубой дымке утреннего тумана, смешаться с ним и, скинув сапоги, пробежаться босиком, крича во весь голос какую-нибудь бессмыслицу. Поскольку, чтобы выразить своё потрясение, свои эмоции, вызванные лицезрением нашей таинственной, как душа русского человека, природы, нужно непременно совершить какую-нибудь глупость.

Что самое интересное и примечательное, непостижимое и необъяснимое: люди, живущие посреди этого раздолья, всей этой красоты не то что не ценят, не замечают, не видят её – они порой тяготеют ею. Все эти бесконечные луга и леса навевают на них тоску и скуку. Быть может, это происходит от-того, что огромность и монументальность подавляют человека? Или природная гармония лишний раз, хочешь не хочешь, напоминает людям об их собственном несовершенстве?

И нет радости у провинциальных жителей. Ни в чём не находят они её: ни в согласованности едва уловимых, переходящих один в другой оттенков неба с дрожащими на ветру золотисто-багряными кронами деревьев – бархатной осенью, ни в сизом, чуть голубоватом тумане, стелящемся вечерами у благородной малахитовой зелени ельника на фоне ослепительно белого снега, – суровой зимой. Даже если любовь вдруг нечаянно поселяется в сердцах аборигенов, то и она не даёт им отрадных, светлых переживаний. Парадокс. Самое сильное чувство на Земле не делает людей глухих российских местечек счастливыми, а вызывает

в их душах лишь злобу, ревность, зависть и желание уйти от реальности в мир смрадного опьянения. Удивительно! Но они, наши соотечественники, населяющие города, именуемые в литературе самыми разнообразными названиями – будь то Глупов, N, Энск или Осрань, не чувствуют собственной драмы, ужасающего трагизма своей жизни и её пугающей пустоты. Лишь изредка, в какие-то определённые мгновения, словно из-за прикосновения ненароком к раскалённой конфорке электрической плиты, импульс боли и отчаяния дойдёт до их мозга, и вдруг смутное подозрение овеет несчастных ледяным ветром – что жизнь-то проходит даром – жизнь скотская, бездарная, ничем, кроме грязи, драк и тяжёлого похмелья, не заполненная. Ветер обдаст и понесётся дальше, а человек как существовал, так и продолжает существовать...

Миновав наконец аркаду торговых палат восемнадцатого века, в которых теперь никто не торгует, ржавый «Москвич», поскрипывая, подрёвывая и попукивая, завернул за угол трёхэтажного кирпичного дома и остановился у кособокой, почти чёрной избы.

– Приехали, – доложил «таксист». – Гонитя полтинник.

– Это куда ж?.. Куда ж ты нас привёз? – оглядываясь по сторонам, изумлённо вопрошала Аврора Владимировна.

– Куда просили! Сейчас по тропочке мимо во-он того дома пройдёте и прямо к театру выйдёте. Дальше, мать, никак не проедем – увязнем, и баста, – разъяснил осранец и снова потребовал: – Гонитя полтинник-то!

Пройдя по грязи мимо чёрного кособокого дома, наши спутницы вышли на небольшую площадь, которую правильнее было бы назвать не площадью, а пятачком. У храма муз, источника высоких душевных наслаждений (как когда-то сказал величайший русский драматург А. Островский) стояла исхудавшая грязно-белая, в пятнах цвета жжёного сахара корова и монотонно, неторопливо дожёвывала серую непростиранную простыню, висевшую на длинной бельевой верёвке, протянутой от телеграфного столба к вековому дубу.

Драматический театр был построен в конце девятнадцатого столетия в стиле позднего классицизма – позднего, поскольку сие направление, основанное на подражании античным образцам, проникло сюда с опозданием не менее чем лет на сто по сравнению с обеими нашими столицами. Храм Мельпомены имел треугольную крышу, опасный для жизни перекосившийся балкон, ионические колонны, украшавшие фасад, с характерными завитушками у карниза, напоминающими гребень океанической волны в миниатюре, одну действующую дверь, приволочённую, видимо, кем-то из рачительных сотрудников из собственного дома – широкую и оцинкованную. Само здание было выкрашено в цыплячий цвет.

– Кошмар! Ника! Ты только посмотри! – выкинув свободную руку в сторону местного культурного центра, воскликнула с раздражением Аврора Владимировна. – И в этом ужасном сарае работает моя единственная дочь! Нет! – возопила она. – Это не театр! Это хлев! Коровник! Вот! Вот на что уходят её лучшие годы! Вместо того чтобы выйти замуж, родить мне внука или лучше даже внучку, она месит тут навоз и играет Чацкого непонятно для кого! – расходилась Дроздомётова.

– Ну кто-то ведь ходит на спектакли, – промычала Вероника Александровна в защиту Арины и тут же унеслась мыслями и душой далеко-далеко от этого городка со странными людьми, с единственным «такси», перевязанным изоляционной лентой, словно торт верёвками, от театра, в котором век назад, возможно, разыгрывались настоящие, а не придуманные драматургами, трагедии. В Москву, к Лариону полетели думы несчастной Бубышевой, которая по сей день никак не может понять: что же всё-таки произошло тогда, в том роковом 1992 году?

– Ходит! – иронически фыркнула Аврора Владимировна. – Кто ходит?! Ты видела их на вокзале? Вот они и ходят! Загубила! Ох, загубила Аришка свою молодость! Жизнь свою!

Всю судьбу себе испохабила! – навзрыд проговорила она – да так театрально это у неё получилось, что впору было самой выйти на подмостки да сыграть заглавную роль Чацкого.

Дёрнув тугую дверь, Дроздомётова с нетерпением ворвалась внутрь. В полутьме она рассмотрела пустые крючки в гардеробе, отделённом от фойе деревянной перегородкой до пояса. В нос ей пахнул спёртый воздух со смешанными запахами солёных огурцов, еловых опилок, перегара и дыма дешёвых папирос.

– Подожди меня! – буркнула Вероника Александровна.

– Ну что, что там опять стряслось?! – раздражённо поинтересовалась Дроздомётова.

– Сумка за щеколду зацепилась, – пробасила подруга.

«И зачем я предложила ей поехать со мной?!» – пожалела в душе Аврора Владимировна и сиганула вперёд, вдоль тёмного коридора.

– Вы не скажете, где я могу найти Арину Метёлкину? – спросила она у дородной бабы престранного вида, странность коего заключалась вовсе не в пышном платье девятнадцатого века цвета сирени, распустившейся на обочине пыльной дороги, не в уморительных безжизненных буклях парика, некогда имевшего весьма приличный блондинистый оттенок, и не в огромных клипсах «под аметист» в форме капель, а скорее в несоответствии созданного образа с характером работы, коей эта самая баба была занята в тот момент, когда её увидели наши дамы. Она склонилась над пустыми ведрами, делая вид, что моет пол. – Метёлкину! Арину Юрьевну! Вашу ведущую актрису, – разжёвывала Дроздомётова, чувствуя, что уборщица с буклями никак не может её понять.

– Все мы тут ахтёры! Подумаешь! Знаем мы энтих сведущих! – недовольно, ревностно даже проворчала та, ударив ведром о ведро для пущей важности. – Не знаю я никакой Метёлкиной!

– Ах, так? Где директор? – злобно спросила наша героиня – её терпение было на пределе. И это понятно – во-первых, Бубышева то в лужу упадёт, то сумкой о щеколду зацепится, – никакой от неё пользы, – знай хвостом следует за Авророй, будто привидение, уставясь в спину бездумным взглядом. Во-вторых, всколыхнулась, поднялась в Дроздомётовой злость и обида. Только непонятно: за дочь или на дочь? В-третьих, нельзя сбрасывать со счетов её тяжелейшего состояния, сопряжённого с «проклятушей» (как она сама выражается), затянувшейся менопаузой. – Директора мне!

– Не знаем мы никакого директура! – пробормотала себе под нос уборщица. – Репетиция у всех у зале. Инеральная!

– Тьфу! – плюнула Аврора Владимировна и чертыхнулась.

– Он! По коридору до упору! Там и репетируют! – отрезала баба в платье с необъятной юбкой и с новой силой загромыхала пустыми ведрами.

Театралки метнулись по коридору, однако «до упору» им дойти было не суждено – навстречу им сломя голову летел юноша чудаковатого вида с задиристым, налаченным вихром тёмно-каштановых волос. Стройный, в коричневом сюртуке, очень напоминающий кузнечика. Кипенный ворот сорочки был так сильно накрахмален, что, казалось, шея его в тисках, используемых в средневековых пытках. Белые лосины плотно обтягивали его стройные ноги...

– Молодой человек! Молодой человек! – заголосила Аврора Владимировна. – Скажите, а где бы нам Арину Метёлкину найти? Вы её случайно не знаете?

– Как не знать?! – ломающимся мальчишеским баском ответил он.

– Знаете! Ой! Как хорошо-то! А то ведь это не город, а не пойми что! Никто ничего не знает! Рожи какие-то – аж дрожь от их вида пробирает! А такси! Это ж ведь одна сплошная насмешка, а не такси! Правда, Ника?! Хотя ты подтверди, а то молодой человек может мне не поверить! Вы не представляете! Пятьдесят рублей заплатили, чтоб от вокзала до театра доехать на жуткой телеге! Пешком бы дошли быстрее! – Аврору Владимировну прорвало –

именно сейчас ей вдруг захотелось выплеснуть всё, что наболело у неё на душе за многие годы, об этом диком городе, который отнял у неё любимую и единственную дочь. Она начала с мельчайших подробностей жизни Ариши до приезда в Осрань, затем плавно перешла к мечтам о замужестве дочери, о внуках и собственной счастливой старости, а заключила свой рассказ убедительным восклицанием: – Я всё равно перетяну её обратно! Смех ведь, кому рассказать! И квартира однокомнатная в Москве прямо напротив парка, рядом с метро, пустует! И я опять же одна как перст! – тут Аврора Владимировна не сдержалась и заплакала. – Если надо будет – силой увезу! Ведь с её-то образованием в любом столичном театре может служить!

– Служить бы рад, прислуживаться тошно! – горячо воскликнул молодой человек, резко, вызывая даже вскинув голову.

– Ну почему ж прислуживаться?! Она у меня не официантка какая-нибудь – всё ж таки актриса! – возмутилась Аврора Владимировна. – В Москве-то быстрее прославишься, быстрее дорожку себе проторишь!

– Свежо предание, а верится с трудом! Как тот и славился, чья чаще гнулась шея! Как не в войне, а в мире брали лбом! Стучали об пол, не жалея! – выкрикивал юноша вдохновенно.

– Да что вы, в самом деле! Говорите как-то непонятно! Аврор! Кто это? Что это за молодой человек? – прорезалась наконец Бубышева.

– Кто я?! – грозно возопил молодой человек и продолжил, задрав голову кверху: – Безумным меня прославили всем хором! Все гонят! Все клянут! Мучителей толпа... В Москву?! – свирепо, сквозь зубы процедил он и, поправив задиристый свой, налаченный хохолок, заголосил с новой силой, со страстью, с жаром: – В Москву?! Туда я больше не ездук! Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, где оскорблённому есть чувству уголок!.. Карету мне, карету!

– Ничего не понимаю, – пробасила Бубышева.

– А... А... Ариша?! – запинаясь, дрожащим голосом прошептала Аврора Владимировна. – Ты?! – всё ещё сомневаясь да приглядываясь к молодому человеку то так, то сяк, спросила она, выронив от крайнего изумления букет подмороженных астр.

– Ха! Ха! Как будто не прошло недели! Как будто бы вчера вдвоём мы мочи нет друг другу надоели! – с претензией проговорил юноша.

– Аришка! – с неподдельным счастьем в голосе прокричала на весь коридор мадам Дроздомётова, выронив в конце концов и дорожную сумку цвета топлёного молока. – Ты ли это?! – и она бросилась на шею молодому человеку, в котором с трудом узнала своё любимое и единственное чадо. – Господи! Так ты ж у меня и разговаривать-то по-человечески разучилась! Ай да актриса! Ну настоящая актриса! Это ж надо! Ник! А, Ник! Это ведь надо так перевоплотиться, что мать родная не признала!

– Ничего не понимаю, – заторможенно, будто очнувшись от долгого глубокого сна, проговорила Бубышева.

– Да что ж тут непонятного?! Это дочь моя! Гениальная актриса – Арина Метёлкина! – захлёбываясь от радости, говорила Аврора Владимировна тона на два выше, чем следовало бы.

– Да быть того не может! – молвила Вероника Александровна низким голосом, похожим на звучание медного духового инструмента, уставившись на молодого человека... Можно было б, конечно, сказать, что взор её в тот момент был пустым, но это не совсем верно. Её телячий взгляд, как ни странно, содержал в себе многое: непроходимую тупость, полнейшую растерянность, непонимание, упрямство даже – мол, не желаю я видеть в этом юноше никакую Арину Юрьевну! Ну разве можно такой взгляд назвать пустым? Грешно! Честное слово!

– Может, может, – проговорил «Чацкий» звонким женским голосом и вдруг сдёрнул с головы задиристый, налаченный хохолок, как обычно мужчины снимают шляпы в знак приветствия.

– Ариш! Куда же делись твои прекрасные волосы?! – ахнула Аврора Владимировна, увидев глубоко выбритый лоб дочери – примерно от верхней точки одного уха к другому. – Что ты с собой сделала?! – в ужасе пролепетала она.

– А-а... Это?! – и Арина постучала крепким кулачком по черепушке. – Готовлюсь к роли Елизаветы Тюдор.

– Ну и что?! Зачем так себя уродовать?!

– Ах, матушка! Искусство, как и красота, требует жертв! Идёмте ко мне!

– Куда?

– Домой, тётъ Ник, ко мне домой.

– А как же репетиция? Костюм?

– Прогон только что закончился, а костюм... Да тут до моей хибары две минуты идти. Я так пойду.

Оказалось, что в полуподвале того самого трёхэтажного кирпичного дома с выцветшими шторками на окнах и жила Арина. Она занимала одну большую комнату, в которой располагалась и кухонька (вернее, её подобие), отделённая от остального старой ацетатной занавеской с оранжевыми ромашками на синем фоне. В углу, на деревянном узком столе стояла одноконфорочная электроплитка, эмалированная литровая белая кружка с нарисованной неестественно красной грушей и кипятильником. Холодильника не было вовсе – зимой Арина хранила кое-какие продукты в навесном ящике за окном. Всё остальное время года питалась в театральном буфете. Может, оттого-то она и не страдала избыточным весом и не имела дурной привычки наедаться на ночь или, ещё чего хуже, по ночам, как Вероника Бубышева.

Комната тоже не блистала особой роскошью. «Ничего лишнего» – вот девиз Арины. Кровать на пружинах, письменный стол, заваленный книгами (вообще, книги были повсюду – на полках, подоконниках – вместо цветов, по углам), два стула, трюмо и двухстворчатый шкаф. Так называемые удобства находились в самом конце коридора, сразу за «хоромами» семьи Рыбохвостовых.

Окинув взглядом убогое жильё дочери, Аврора Владимировна не могла сдержать слёз – она захлопала носом, высморкалась и простонала:

– Аришенька! Голубушка! Поедем домой! Ну что ты тут как неприкаянная, честное слово! Это разве жизнь?

– Вот это как раз и есть жизнь! Я здесь счастлива! – патетично воскликнула Аришенька, ударив себя в грудь кулачком.

– На, вот, возьми цветочки. На станции купила, – и Дроздомётова, утирая слёзы, протянула дочери букет поднятых с пола тёмного театрального коридора увядших астр.

– Спасибо! Я их на память засушу.

– Ник! Скажи хоть ты ей! Что нельзя, невозможно жить красивой молодой женщине в этой дыре! Ты бы смогла? Смогла жить тут? – допытывалась убитая горем мать.

– Ой, Аврор! Если б вместе с Ларионом, я б и в шалаше согласилась! Да! – твёрдо заявила Вероника Александровна и вдруг как заревёт белугой.

– Что ты, Ника?! Что ты?

– Что вы, тётя Ника?

– О-ё-ёй! – голосила Бубышева. – Не пойму я! Ой! Не пойму! Что же всё-таки произошло в девяносто втором году?! Почему, почему он от меня ушёл-ё-ол?!

– Ушёл, и слава богу! Зачем он тебе нужен-то на старости лет?! – искренне удивилась наша героиня.

– Я только его одного люблю! Мне больше никто не нужен! – совсем разнюнилась Бубышева.

– От мужчин одни только неприятности, – поддержала мать Арина. – С ними никогда в люди не выйдешь!

– Можно подумать, что, сидя в этой глухомани, ты чего-нибудь добьёшься?! Кто тебя узнает? Кто тебя увидит? – негодовала Аврора Владимировна.

– Кому надо, те и увидят! Сегодня, кстати, на премьеру придёт известный в своих кругах английский режиссёр, – бросая пакетики чая в чашки, между делом заметила Арина – так, будто это её вовсе не касается и не волнует.

– Зачем нужен?! Да затем, что мой организм любви требует! Весь дрожит в ожидании! Мой организм! Вот зачем! – не унималась Бубышева.

– Интересно! Это в каких таких кругах он известен, твой режиссёр? – недоверчиво спросила Аврора Владимировна.

– В театральных!

– После двадцати лет совместной жизни бросить меня! И ладно бы ругались! Ведь никогда не ссорились – душа в душу жили! Как обидно! – ревела белугой Вероника. – Как незаслуженно!

И тут все женщины, которых жизнь свела именно в этот день в этом городке и в этой комнате, принялись наперебой вспоминать, насколько жестоко и несправедливо обошлась с ними злодейка-судьба.

Аврора Владимировна во всех грехах обвиняла Сергея Дроздомётова, который вот уж лет четырнадцать как сосёт из неё кровь, доводя до белого каления своими звонками, упрёками и претензиями.

Бубышева, понятное дело, ругала на чём свет змею-разлучницу, которая, по её словам, не иначе как изнасиловала Лариона, в результате чего родился не вполне здоровый (по её субъективному мнению) на голову ребёнок.

Арина что было мочи крыла бывшего мужа, главного режиссера одного из детских столичных театров, где она прослужила шесть лет, играя мышек да зайчиков, а заодно и Москву.

Причитали несчастные аж до пяти вечера, пока Арина Юрьевна не засобиралась в театр, дабы надлежащим образом загримироваться и войти в роль. Её гости решили пройтись перед спектаклем, осмотреть город и его достопримечательности.

* * *

Ровно в половине седьмого наши театралки вступили в храм Мельпомены, показав той самой дородной бабе в необъятном платье цвета «придорожной сирени», которая поутру так самозабвенно гремела пустыми вёдрами, два билета на самые почётные зрительские места, в ложе. Билеты выглядели так же странно, как и вокзал изнутри, и корова у театра, и жители, и весь город в целом. На разрезанном частей на восемь клетчатом листке, выданном из чьей-то ученической тетради по математике, было написано простой шариковой ручкой, мелким непростым, с крючочками да загогулинками, почерком:

«Билет входной (театральный).

Место – ложа (балкон над сценой).

Явка – к 19.00. (Цена – договорная)».

У Авроры Владимировны внизу, в самом углу «документа», виднелась пара, выведенная красной ручкой, и слог «По». Приложив свой билет к бубышевскому, Дроздомётова смогла прочесть продолжение этого самого «По». На билете приятельницы было выведено: **«Зор!!! Родителей в школу!»** То, что это действительно была официальная бумага, которая

позволяла приятельницам беспрепятственно пройти на спектакль, подтверждала сиреневая печать с надписью по кругу «Драматический театр».

Утренняя уборщица, надорвав билеты, как кассир чеки, завопила трубным голосом:

– Проходите! Проходите! Поди, вы не одни! Вон народу-то сколько задерживаете!

Народ, который, по словам билетерши, толпился возле входа в нетерпении поскорее приобщиться к чистому искусству, состоял из мужчины в котелке а-ля Чарли Чаплин, что стоял на перроне в луже, сверкая своими жёлтыми сандалиями и сетуя по поводу ушедшего пассажирского поезда дальнего следования. Другим, и последним, представителем «толпы» являлась баба Маруся, торговавшая всё на том же перроне семечками.

Так вчетвером они и блуждали минут двадцать по театру, время от времени сталкиваясь то в туалете, то в буфете, где продавались деревянные миндальные пирожные, залежавшиеся, казалось, ещё с застойного периода, распухшие, больше похожие на сардельки, варёные сосиски и томатный сок в гранёных стаканах. Вероника Александровна, постоянно испытывающая неутолимый голод, купила сразу пять пирожных, не глядя откусила первое и тут же сломала передний вставной резец.

– Фу ты! Да что ж за день сегодня такой! Утром упала! Вечером зуб сломала! Одно расстройство! – завопила она от боли и отчаяния и принялась размачивать кондитерское изделие в солёном томатном соке.

– Да брось ты его, не то все зубы переломашь! – попыталась вразумить её Дроздомётова.

– Я есть хочу! – упрямо пробасила та и кинулась покупать странного вида гибридные сосиски. Набив ими свою потёртую кожаную сумку, Бубышева немного успокоилась.

К семи часам театр, как ни странно, наполнился людьми. Аврора Владимировна увидела «таксиста», который утром довёз их с вокзала на своей колымаге. Семейство Рыбохвостовых – муж в допотопном голубом костюме своего покойного отца, в нейлоновой жёлтой рубашке, с фингалом под глазом, его жена Варька в ацетатном платье той же самой расцветки, что занавеска, отделяющая Аринину комнату от кухни, – с оранжевыми ромашками на синем фоне. Бабка – то ли Варькина мать, то ли свекровь, – беззубая, с одутловатой физиономией и красным носом. Двое ребятишек – мальчик лет восьми и девчушка двумя годами младше. Они изо всех сил пытались чинно идти по коридору, но какая-то (понятная лишь им одним) цепная реакция портила всё дело – не получалось у них пройти с достоинством, гордо неся себя, всем на зависть: бабка отвешивала крепкий подзатыльник главе семейства, тот, в свою очередь, дёргал Варьку за тонкую, коротенькую, сальную косицу, Варька – щипала сына за мягкое место, мальчик от души принимался дубасить сестру – та, неистово крича, подлетала к бабке, пытаясь всякий раз сорвать с неё длинную юбку на резинке. Как только дело доходило до старухи – всё начиналось снова.

Аврора Владимировна не отрываясь наблюдала за местными театрами – её очень волновали новые лица, она жадно впитывала в себя всё, что видели её глаза, надеясь в дальнейшем описать это в одном из томов своих мемуаров. И чем дольше она смотрела на них, тем сильнее росло в ней убеждение, что нет в городе ни одного нормального, одухотворённого, интеллигентного лица. Все жители будто час назад очнулись после тяжёлого, полного кошмаров похмельного сна и явились сюда. Хотя... Чему тут удивляться? Если учесть, что сегодня тринадцатое октября, всё обстоит именно так.

Двадцать четвёртого сентября осканцы закончили массовый сбор урожая картофеля. Радости их не было предела. А когда радость проникает в души аборигенов подобно скудному, дрожащему солнечному лучу в пасмурный, ненастный день, они впадают в невменяемое состояние двухнедельного запоя, за время которого умудряются полностью опустошить весь собранный на зиму запас крахмалистых корнеплодов. Естественно, после обнаружения пустых подполов и закровов на жителей наваливается тяжёлая, точно могиль-

ная плита, мучительная депрессия, вызванная тем, что, несмотря на сентябрьскую напряжённую «страду», зима грозит быть не только холодной, но и голодной. «Куда подевалась вся картошка?» – вопрошают они друг друга, друг друга же подозревая в воровстве заморского корнеплода, выписанного в Москву из Германии Екатериной Второй в 1765 году. Не найдя ответа на сей вопрос, осранцы ещё несколько дней заливали своё горе и, опустившись дальше некуда, пришли в театр, интуитивно надеясь, что, причастившись к высокому и чистому, вынырнут из омута мрачного уныния.

Вот такие – с опустошенными душами, блуждающими взглядами, агрессивные и подавленные, с перегарным запахом изо рта – в драматический театр так называемой Осрани пришли её жители. Пришли с надеждой, в ожидании если уж не чуда, то в предчувствии, что премьера спектакля хоть как-то изменит их жизнь к лучшему. К чему? И к какому именно «лучшему», они не знали, поскольку давно уж отобрали у них всякую веру – сначала в то, что всё вдруг до тошноты стало позволено, потому как бога однажды отменили, оставив как смутное напоминание о нём полуразрушенную церковь на соседней с театром улице. Потом, много лет спустя, как известно, отменили и «светлое будущее»... Так что теперь осранцы, пребывая в полной растерянности, во что же им нынче верить, и понимая, что в «светлом будущем» они уже пожилые, цеплялись, как утопленник за соломинку, за местный драматический театр. Может, здесь они найдут смысл существования? Может, тут им подскажут, как жить дальше? Может, посмотрев искромётную комедию А.С. Грибоедова, они найдут для себя выход из опостылевшей мрачной жизни? Или найдётся, в конце концов, исчезнувшая таинственным образом картошка?

В начале восьмого в театре раздался первый и единственный звонок, больше напоминающий заводской гудок – долгий, душераздирающий, после которого мужской голос застенчиво пригласил всех в зрительный зал.

Усаживались ещё минут десять – ворча и переругиваясь, борясь за места. Всем отчего-то казалось, что обшарпанное кресло соседа несравнимо лучше его собственного. К тому же на билетах нумерация отсутствовала – просто было указано: «партер» или «галёрка».

В половине восьмого народ расселся, утомился, умолк в ожидании чего-то сверхъестественного – такое впечатление, что они ждали летающую тарелку, которая непременно должна приземлиться на дощатый, скрипящий при каждом шаге пол сцены.

Аврора Владимировна с Бубышевой сидели в ложе прямо над подмостками в компании двух мужчин, которые бормотали на ином языке, словно вовсе не зная русского. Один из них был тонкий, конопатый, с торсом, устремлённым вперёд (того и гляди вывалится с балкона, как несмышлёный птенец из гнезда), белобрысый, с едва заметными светлыми бровями и ресницами, орлиным носом, губами-ниткой и глазами с нависшими веками, отчего те напоминали жабы. Другой – толстый, с внушительным брюшком, темноволосый, кудрявый. Он сидел, вцепившись жирными коротенькими пальчиками в перила.

Глупо, конечно, но вечно голодная Бубышева, незаметно для себя уничтожив все купленные в буфете подозрительные варёные колбаски, сослепу приняла его пальцы за сардельки и чуть было не накинулась на них, предвкушая ни с чем не сравнимое удовольствие насыщения. Благо, вовремя опомнилась.

«И чего пришли? Всё равно ничего не поймут!» – удивлялась Аврора Владимировна, глядя на соседей по ложе.

Наконец занавес поднялся, и взгляду зрителей открылась картина, которая перенесла их в другой мир – волшебный мир давно ушедшего, доброго девятнадцатого века.

На ярко освещённой сцене, имитирующей обстановку гостиной с дверью в спальню, с огромными напольными часами, круглым столом, покрытым вязанной крючком скатертью, на одном из кресел, свесившись, спала та самая, уже хорошо знакомая читателю, уборщица и билетёрша в одном лице. Она была в пышном грязно-сиреневом платье вместо русского

народного сарафана (который, надо заметить, больше подошёл бы для роли служанки). И играла баба Лизаньку.

– Светает!.. Ах! как скоро ночь минула! – вскочив с кресла и уж слишком как-то сильно крутя головой по сторонам, прокричала она. – Учерась просилась спать – отказ, – и поломойка с досадой хлопнула себя ладонями по ляжкам, после чего в зале раздались бурные аплодисменты, которые заглушили весь остальной монолог тучной Лизаньки.

(Открывается дверь спальни, и появляется голова Лили Сокромецкой – постоянной партнёрши Арины, играющей её жён или возлюбленных. Сегодня она, естественно, была Софьей.)

– Который час? – спрашивает Софья, широко зевая и чуть не выворачивая челюсть. Лиза смотрит на часы и говорит простосердечно:

– Почти без двадцати восемь! Начали-то позже!

Лиля возмущённо шепчет ей что-то. Билетёрша ударяет себя кулаком по лбу и повторяет за ней: «Седьмой, восьмой, девятый!»

Зрители, не замечая фальши в игре Сокромецкой и коверканья текста великой комедии уборщицей-билетёршей, хлопали, не жалея ладоней, всякий раз, как только подворачивался удобный момент – стоило лишь кому-то из актёров замолкнуть, чтобы дух перевести, как театр наполнялся громкими и продолжительными аплодисментами.

Почётные гости, что занимали балкон, были настроены не столь благодушно – мужчины (что тонкий, что толстый) довольно холодно, несколько даже скептически, судя по их взглядам и интонации тех редких фраз, коими они обменивались между собой, отнеслись к игре Лили, бабки-поломойки, старика с длинной запутанной бородою, который старательно пытался изобразить Фамусова, и не в меру крикливого юнца в роли Молчалина. Аврора Владимировна ждала появления на сцене своей единственной, любимой и гениальной дочери. Что касается Бубышевой, то она, разочаровавшись сначала в миндальном пирожном, а затем и в обманных сардельках, сладко спала, похрапывая и похрюкивая. Когда же на подмостки наконец вылетел Чацкий и, выкрикнув известную фразу «Чуть свет – уж на ногах! и я у ваших ног», с жаром, с такой неподдельной естественностью и непринуждённостью, что даже бывалый, самый искушённый театрал не поверил бы, что его играет женщина, душу Авроры Владимировны, её сердце... да что там говорить! – всю её в этот момент захлестнула такая волна невыразимых чувств – и гордость за дочь, и радость, и счастье... И странное какое-то ощущение вдруг овладело ею: что её родная дочь, которую она тридцать с небольшим лет назад рожала в муках в роддоме № 35, кормила грудью, воспитывала, учила, как можно поступать в этой жизни и как нельзя, внезапно отдалилась от неё, возвысилась, став не то что бы чужой, но какой-то другой, совсем не той девочкой, первым словом которой было не «мама» или «папа», а собственническое «моё!», навязанное ей Зинаидой Матвеевной, матерью нашей героини. На её девочку, которую все без исключения родственники считали нескладной, бездарной – да что уж там греха таить, глупой и даже дебиловатой, сейчас восторженно смотрели десятки глаз. Даже их худосочный белобрысый сосед по ложе при Ариным появлением встрепенулся весь и, вцепившись в перила, повис над сценой – глаза его горели, щёки пылали от переживаемого катарсиса. «Надо ж! Понимает чего-то!» – удивилась Аврора Владимировна, покосившись в его сторону.

Играли без антракта, на всю катушку, и, надо сказать, внимание зрителей к концу пьесы ничуть не ослабело. Более того! Нужно было видеть, что творилось в зале в финале спектакля, когда Чацкий, спрятавшись за колонну, внимал диалогу Софьи с Молчалиным, потому что всегда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать или прочесть. Выражения их лиц, беспомощные жесты, говорящие взгляды... Всё это напоминало школьное представление для первоклассников, которые с детской наивностью, всем своим существом болеют за какую-нибудь мышку, которую хитрая лиса хочет съесть, подстерегая на крыше лубяного домика.

– Да вон она!

– Посмотри наверх!

– Спасайся! – наперебой кричит ребяшня.

– Что ты их слушаешь-то стоишь! Хватай Соньку да беги! – вдруг прорезался голос бабы Маруси.

– Эй! Чаский! Не зевай! Набей Мощалину морду и айда с нами на вокзал, пиво пить! – свистя, горячо советовал торговец вялыми астрами.

– Лизка! Дура! Чо ж ты языком-то чешешь?! Ведь вон он, змей, за фанеркой спрятался! – что было сил вопила Варька Рыбохвостова.

После знаменательного монолога обиженного и оскорблённого Чацкого баба Маруся никак не могла успокоиться:

– А где ж карета? Куда это он, люди добрый-я, побёг? – она ещё долго возмущалась по поводу отсутствия на сцене кареты, затребованной главным героем пьесы, но её возгласы растворились в оглушительных овациях восторженных зрителей. Они, все без исключения, вскочили с мест и рукоплескали Арине стоя. У Авроры Владимировны от ошеломляющего дочернего успеха голова закружилась, всё поплыло перед глазами от счастливых, невольно намернувшихся слёз.

В заключение вышел старик с длинной нечесаной бородой и, проглатывая половину слов по причине плохо выученного текста, монотонно проямлил что-то вроде:

– Безумный он, не видишь что ль, бум, бум, ля, ля, и чепуху он всякую молот, ля, ля, бум, бум, – и вдруг, расправив опущенные плечи свои, он взвизгнул так громко, что даже на галёрке услышали: – Ах! Боже мой! что станет говорить княгиня Марья Алексевна!

– Что я стану говорить? Что тут скажешь?! Дурак ты, Захарыч! Вот тебе моё слово! – выкрикнула баба Маруся. – Куда полез-то? Мёл улицу у театра, и мёл бы! А то полез в ахтёры! И зачем? Только хорошего человека обидел! Дурак ты, Захарыч!

Занавес опустился. Актёры по требованию публики выходили раз пятнадцать, не меньше, кланяясь в пол.

Аврора Владимировна кричала, не помня себя от восторга и счастья:

– Браво!

– Брависсимо! – вторил ей на ломаном русском тонкий светловолосый сосед – ему, судя по всему, тоже понравился спектакль.

Бубышева, часто моргая, беззвучно хлопала в ладоши, дабы не отбить рук. Одним словом, премьера имела неслыханный успех даже по столичным меркам.

Когда актёры ушли со сцены, народ ещё минут десять стоял в ожидании продолжения спектакля. Наконец, поняв, что «второй серии» не будет, зрители медленно и нехотя стали выходить из зала, а Аврора Владимировна метнулась за кулисы, сжимая пурпурную бархатную коробочку. Бубышева поплелась за ней – «хвостиком», как она любила...

* * *

Разыскав без особого труда тесную каморку, что служила Арине гримёрной, Аврора Владимировна повисла на шее у дочери, восторженно всхлипывая и подвывая:

– Ой! Аришка! Не могу! До глубины души ты меня тронула своей игрой! Ты гениальная, гениальная актриса! Видела б тебя вся наша омерзительная родня! Все б с зависти умерли! Злопыхатели поганые! – с обидой и гордостью говорила Дроздомётова, вспоминая своих многочисленных родственников, которые некогда (во времена её молодости, когда она, как говорится, была на коне) буквально ногой открывали дверь её новенькой квартиры, полученной в результате слёзного письма первой космонавтке нашей страны. Когда же Аврора с коня упала, все они, как это обыкновенно случается, рассосались, забились по своим квар-

тирам и всеми поступками и телефонными звонками (вернее, отсутствием оных) продемонстрировали ей полнейшее своё пренебрежение и отстранение. То же самое касалось и единственного сводного брата Авроры Владимировны – Гени Кошелева, который отказал сестре в общении, женившись на старости лет и родив ребёнка.

– Тебе правда понравилось? – спросила Арина, срывая с себя парик.

– Что ты?! Как такая вдохновенная, профессиональная игра может не понравиться?!

– Тётя Ника, а вам-то, вам-то как спектакль? – поинтересовалась актриса, накидывая на плечи розовый в рюшах халат.

– Хорошо. Особенно мне то место понравилось, где ты за колонной пряталась, – поделилась своими впечатлениями Бубышева, стреляя глазами по Ариной гримёрке в надежде узреть что-нибудь съестное.

– Забыла совсем! Совсем забыла! – опомнилась Аврора Владимировна и, достав из кармана пурпурную бархатную коробочку, торжественно вручила её дочери. – Это тебе в знак почитания твоего таланта, – высокопарно молвила она.

– О! Какое чудо! Надену, когда Елизавету буду играть! – воскликнула Арина, убрав золотой комплект с сапфирами в верхний ящик трюмо. Девица, в отличие от матери, была совершенно равнодушна к украшениям – они для неё являлись лишь частью костюма для ролей цариц, заморских принцесс и королев.

Милое воркование их было прервано внезапным появлением в узкой комнатке троих мужчин, двое из которых нельзя сказать, чтоб уж очень хорошо были знакомы читателю, но, по крайней мере, вы пару раз встречались с ними – на вокзале и на балконе над сценой... Один – белёсый, тонкий, с торсом, устремлённым вперёд, другой – толстый и кудрявый, с жирными пальцами, которые Бубышева сослепу приняла за вареные сосиски. Третий же – небольшого роста, жалкого вида, неприметный, если б не его двухкилограммовый, горбатый незабываемый нос.

– Знакомьтесь. Это наш главный режиссёр – Остап Ливонович Черняховский, а это моя мама с подругой – Вероникой.

– Очень приятно, очень! – И Остап Ливонович эмоционально потряс руку сначала Авроры Владимировны, потом Бубышевой. – Позвольте представить вам, уважаемые дамы, небезызвестного режиссёра, который приехал из Англии и почтил наш скромный театр своим вниманием! Сэр Джон Баскервиль! – выкрикнул он так, как конференсье объявляет выступление суперпопулярного певца.

Но стоп! Тут автор считает необходимым прервать милую беседу своих персонажей (которая, если уж по правде, пока ещё и завязаться-то как следует не успела) во избежание недоумения, которое может возникнуть у дорогих читателей буквально на следующей странице.

– Интересно! Откуда вдруг взялся этот самый сэр Баскервиль?! – удивятся одни.

– Не верю! Смешно даже, честное слово! Как небезызвестный английский (!!!) режиссёр мог оказаться в такой дыре?! – воскликнут другие и (вполне возможно) плюнут в книгу, выражая таким образом своё негодование по этому поводу. – От кого он вообще мог прослышать об этом затрапезном театре, где почти все роли отданы дворникам, уборщицам – одним словом, людям, не имеющим никакого отношения к актерству?!

Совершенно справедливое замечание! Ваша покорная слуга сию же секунду в двух словах поставит все закорючки, галочки, крючочки над «i».

Всё очень просто! Проще и быть не может!

Пару месяцев назад осранский театр участвовал в ежегодном театральном фестивале под названием «Медвежьи углы», который при поддержке Министерства культуры и массовых коммуникаций организовали в одном из городов, входящих в Золотое кольцо России.

Сэр Джон Баскервиль, оказавшийся тогда по счастливой случайности в Москве, естественно, рванул на фестиваль. Справедливости ради надо заметить, что англичанином двигало не одно лишь присущее иностранцам любопытство... Сэр Баскервиль из своей тогдашней поездки намеревался выжать максимальную пользу, подобно тому, как страдающий цингой человек выжимает весь сок из неожиданно попавшегося ему овоща или фрукта, надеясь на чудо: даже если болезнь лишила бедолагу зубов, то он, несомненно, верит в то, что они вырастут. Сэр Джон верил в то, что его загнивающий, непопулярный театр в Англии, поражённый страшной болезнью (может, и поопаснее цинги) бездарности и безвкусицы, встряхнётся, оправится, как говорится, воспрянет духом и... покажет кузькину мать не только Англии, но и всей «загнивающей» Европе. Короче, мистер Баскервиль рыскал по всей России в поисках настоящих талантов и самородков, дабы пустить «свежую кровь» в сложный организм своего вконец расстроившегося театра.

Находясь в нашей стране, он, конечно же, не пропускал ни одного события в театральной жизни.

Надо ли описывать, что почувствовал мистер Баскервиль два месяца назад, когда впервые увидел Арину в роли Медеи?! Мурашки бегали по спине его от голоса неизвестной актрисы, а от издевательского вопроса, обращённого к любимому (в роли которого, к слову сказать, был занят не кто иной, как главный режиссёр того же провинциального театра – Остап Ливонович Черняховский): «Ты любишь ли своих детей, Ясон?», у «похитителя талантов» и вовсе волосы на голове дыбом встали.

Естественно, после окончания трагедии великого Еврипида сэр Джон в сопровождении переводчика прямой наводкой отправился за кулисы, где без особого труда нашёл гениальную дочь нашей героини... А через пять минут Остап Ливонович, смущённо улыбаясь и игриво шаркая левой ножкой, уж приглашал того в свой театр на премьеру.

Вот, собственно, и вся история.

Итак, продолжим.

После того как Остап Ливонович сказал: «Позвольте представить вам, уважаемые дамы, небезызвестного режиссёра, который приехал из Англии и почтил наш скромный театр своим вниманием! Сэр Джон Баскервиль!», Аврора Владимировна сказала:

– Очень приятно, – и протянула англичанину руку.

– А это не его ль собака убивала всех, кого ни попадя? – пробасила Бубышева, вылупив на иностранца пустые, ничего не понимающие глаза свои.

– Ника! Не позорься! – прошипела Дроздомётова.

– А чего? Мне уж и спросить нельзя?

– Глупости-то не говори! Не смешивай литературных героев с ныне живущими небезызвестными людьми! – вполголоса попеняла ей Аврора Владимировна как писатель и знаток литературы.

– А это его переводчик из Москвы, – сказал Черняховский.

– Феофилакт Щёткин, – представился тучный мужчина с пальцами-сардельками, тряхнув кудрявой головой.

Аврора Владимировна в ответ представилась сама и, указав на Бубышеву, кратко пояснила:

– Приятельница моя, Вероника, – и, подумав, добавила: – Мы тоже из Москвы.

– О! Зее вэл горсэн-форэстэн! О! вэри-фэри! Чатский! Кор сорькьерити оккей! – распинаясь сэр Баскервиль. – Вэри-мэри кончубей!

– Я не понимаю, не понимаю! – с отчаянием и раздражением воскликнула Аврора Владимировна, сердцем чувствуя, что небезызвестный режиссёр из Англии хвалит её дочь.

– Сэр Джон восхищён игрой актёра, исполняющего роль Чацкого, – монотонно переводил Щёткин. – Он не ожидал увидеть в провинциальном городе такой вдохновенной и

профессиональной работы. Он хочет поздравить исполнителя и просит... Нет, он требует, чтобы его немедленно отвели в гримёрную комнату к великому актёру.

– Да вот же она! Сэр Джон! – недоумённо глядя на мистера Баскервиля, воскликнул Остап Ливонович. Когда же, после долгих объяснений, до высокого гостя дошло, что в роли Чацкого выступала Арина, он бросился поздравлять её – тряс за руки, в щёки даже расцеловал и, в конце концов, сделал ей такое предложение, от которого ни один актёр столичного (не то что захолустного!) театра не смог бы отказаться.

– Сэр Джон Баскервиль извиняется перед вами, Арина Юрьевна, что не узнал вас без грима, и приглашает работать в его театре, в Лондоне, – только успевал переводить Феофилакт. – На неограниченный срок. Вы можете пробыть там столько, сколько захотите. Ваш гонорар будет оговорен в самое ближайшее время. Что касается ролей, то вы, уважаемая Арина Юрьевна, будете играть только заглавные. Сэр Джон это вам обещает, сознавая всю свою ответственность, – с важностью заключил Щёткин.

– Но я не знаю английского языка, и потом... – замялась Арина.

– Не будь душой! – прошептала ей на ухо мать. – Ты что, всю жизнь собираешься сидеть в этой дыре и играть с дворниками и уборщицами? Да такой шанс выпадает только раз в жизни!

– Позвольте, позвольте! – вспыхнул Остап Ливонович, обращаясь к сэру Джону. – Мы к вам со всей душой, а вы, значит, у нас единственную дипломированную актрису украсть хотите! Вот уж не ожидал! Да вы хоть знаете?! Вы – все?! В какой драматической ситуации находится наш театр?! Какие перипетии поджидают нас на каждом углу? Какие конфликты мне приходится улаживать с мэром города при постановке очередной премьеры?! И ведь никогда никакого катарсиса со стороны горожан! Это ж настоящие шекспировские страсти! Трагедия грандиозного масштаба! Переведите, переведите ему! – потребовал господин Черняховский, трогая пальцами свой выдающийся нос, словно проверяя – на месте ли тот.

Щёткин сократил страстную, полную обид и негодования речь главного режиссёра до минимума – до одного предложения. Что конкретно он сказал сэру Джону, осталось загадкой для остальных, поскольку ни один из них не владел языком автора самой печальной повести на свете, если, конечно, не считать душещипательного повествования (только оно по глубине трагизма могло соперничать с великой пьесой В. Шекспира!) господина Черняховского о своем драматическом театре и его трагическом положении в настоящее время, даже в объёме школьной программы.

– Мистер Баскервиль хочет знать, примет ли мисс Арина его предложение, – безынтонационно перевёл Феофилакт.

– Постойте, постойте! – будто одумавшись, воскликнул Черняховский. – Давайте обо всех делах поговорим позже. А сейчас спустимся в буфет и отметим премьеру – актёры уж давно нас ждут.

– Слава тебе господи! Хоть поем, а то ж ведь маковой росинки с самого утра во рту не было! – с облегчением и нескрываемой радостью воскликнула Вероника Александровна.

– Вот это дело! – поддержал её Щёткин, поглаживая свой пивной живот.

В буфете стоял длинный стол, составленный из маленьких, разбросанных прежде произвольно по углам, на котором, кроме миндальных пирожных, сосисок и томатного сока, стояло пять салатниц с бледно-марганцовочным, подозрительным винегретом, пять «пузырей» водки, четыре бутылки шампанского с пророческим названием – «Умора» и одна бутылка гигантского размера с мутной жидкостью.

За столом сидели: дворник с запутанной бородой, исполняющий сегодня роль Фамусова, Лиля Сокромецкая, которую, к слову сказать, Аврора Владимировна с трудом узнала без грима. Это была ничем не примечательная женщина, каких в народе часто называют серыми мышками, ей можно было дать и тридцать лет, и запросто – все пятьдесят. Убор-

щица-билетёрша и актриса в одном лице, никого не дожидаясь, уже всю наворачивала «силос» из недоспелой свёклы, солёных огурцов и моркови (картофелем в винегрете и не пахло по известной читателю причине), юноша, что изображал Молчалина, вожделенно смотрел на бутылки шампанского...

– Гриша! – окликнул его Остап Ливонович. – Я поздравляю тебя с премьерой! Поздравляю от всей души! Ты молодец! Хотя и забывал всё время текст, но я уверен, это ты от волнения, голубчик, а не по халатности! На спиртное можешь не смотреть! Возьми сколько хочешь пирожных и отправляйся домой!

– Ну Остап Ливонович!.. – чуть не плача проскулил Гриша.

– Не надо, не надо, Григорий! Не дави на жалость! Твои спекуляции тут не уместны! Не достиг ты ещё того возраста, чтоб алкоголем себя травить!..

– Ну Остап Ливонович! Ну что я, как недоделанный какой-то!.. Хотя рюмочку-то надо пропустить!

– Ишь! Рюмочку ему! А что мне завтра твоя мамка скажет?! Заругает мамка-то! Давай, давай! Бери пирожные и ступай домой!

– А почему бы ему действительно не выпить за успешную премьеру?! – удивилась Аврора Владимировна.

– Потому что из-за острой нехватки актёров в нашем драматическом театре, – укоризненно глядя на сэра Джона, затянул Черняховский, – мне пришлось задействовать в спектакле не только тётю Фёклу с дядей Степаном, – и режиссёр указал своим неповторимым двухкилограммовым носом на уборщицу-билетёршу с дворником, – но и Григория – ученика десятого класса третьей средней образовательной школы. Из чего следует, что лишних актёров у нас нет! – понизив голос, настойчиво проговорил он. – И юноше категорически запрещено употреблять алкогольные напитки, учитывая его незрелый возраст.

«Какой он нудный и многословный. Что будет страшного, если мальчик выпьет полбокала шампанского?» – подумала Аврора Владимировна, усаживаясь между мистером Баскервилем и дочерью.

– Прошу тебя, Ариша, не будь дурой, прими предложение этого Джона! – уговаривала Дроздомётова своё глупое чадо, глядя, как Гриша, сгребая миндальные пирожные с тарелок, распахивает их по карманам.

– Странная ты, мам, какая-то! Я уеду, а кто тут играть будет?! – довольно громко прошептала матери на ухо Арина. – И потом, кем я там, в этом Лондоне, буду? Кем?

– Великой актрисой! Как Сара Бернар! Как Вивьен Ли! Как Мэрил Стрип, наконец! – выпучив глаза, почти во весь голос заявила Аврора Владимировна.

– Ха! Ага! – усмехнулась Арина. – Гастарбайтером я там буду! Вот кем!

– Что за глупости?! Да как тебе такие мысли в голову приходят?!

– Никакие это не глупости! Это правда! Кому я там нужна? У них что, своих актрис мало? И потом, английского я не знаю, дома своего у меня там нет, друзей тоже... – Арина ещё долго перечисляла, чего именно у неё нет в столице туманного Альбиона – в конце концов оказалось, что у неё там вообще ничего и никого нет.

– Если ты не примешь предложение сэра Баскервиля, я больше ни на одну премьеру сюда не приеду! Так и знай! – обиделась мадам Дроздомётова.

Пока мать с дочерью вполголоса выясняли свои непростые отношения, Остап Ливонович уже успел произнести длинную и высокопарную тираду – с поздравления актёров с успешной премьерой он как-то незаметно съехал на большую, излюбленную свою тему – об упадке местного драматического театра, о его нуждах, бедах и минимальных потребностях, не покрываемых администрацией города. Он снова с чувством заговорил о создавшейся драматической ситуации, о перипетиях, конфликтах, которые ему приходится улаживать с мэрией чуть ли не каждый день, о полнейшем отсутствии катарсиса со стороны

местных жителей. Тут надо заметить, что слово «катарсис» господин Черняховский понимал и использовал в самом узком его значении – как синоним сопереживания и сочувствия, не более того, тогда как с греческого языка слово это калькируется как «очищение». Но всё и так было ясно: не сопереживая театру в целом и Остапу Ливоновичу в частности, горожане не могли обрести ни с чем не сравнимого чувства просветленности, девственной невинности и младенческой непорочности.

– Так выпьем же за успех! Успех во всём! – заключил он и, откупорив одну за другой все четыре бутылки шампанского, наполнил присутствующим те самые гранёные стаканы, в коих перед спектаклем продавали томатный сок.

После игристого как-то плавно и незаметно перешли к водке... Дело дошло и до самогона в гигантской бутылки. Фёкла со Степаном вспоминали былое, перекрикивая и перебивая друг друга. Остап Ливонович с пеной у рта уговаривал Арину «не дурить» и не оставлять любимый театр, доведя тем самым местный храм Мельпомены до полного упадка.

Щёткин, подсев к Лиле Сокромецкой, бессовестно лъстил ей, шаловливо водя толстыми пальцами по её спине.

Бубышева, поставив перед собой миску с винегретом, механически поглощала его, уставившись на чёрную трещину в стене. Вероника Александровна была далеко от этого театра, от его буфета, актёров... Мысли несчастной женщины витали вокруг Лариона, обвиняя неверного мужа тончайшей сетью, подобной той, какой паук опутывает свою жертву.

Аврора Владимировна, ощутив после выпитого приятное тепло, раскрепостилась настолько, что более не чувствовала никакого языкового барьера: она повернулась к сэру Баскервилю и заговорила с ним об Арине:

– Вы не представляете себе, мистер Джон, как я вам благодарна за то, что позвали мою дочь в Англию! Осталось только уговорить её поехать, и всё! Ведь как обидно! Какой талант пропадает! Знаете, она вся в меня уродилась – такая же способная! Да, да! Не верите?

Сэр Джон промычал в ответ что-то нечленораздельное – мадам Дроздомётова подхватила его «мысль», кивая головой в знак согласия:

– И я вам про то же говорю! Я с вами совершенно, полностью солидарна! К тому же я уже сказала, она так же талантлива, как и я! А вы не знали? Не знали, что я пишу книги? Да я ведь писатель! – она хвасталась ещё очень долго – пока наконец не обратила внимание на растерянный взгляд сэра Джона. – Господи! Это кому ж я всё рассказываю-то?! – опомнилась она. – Феофилакт! Господин Феофилакт! Можно вас?! Уж извините, что беспокою, но без вашей помощи я, наверное, не обойдусь!

Щёткин неохотно выдернул руку из-под Лилиной кофты, встал со стула и вразвалочку подошёл к англичанину.

– Садитесь и переводите. И так, чтоб ему всё понятно было, а то как-то вы уж очень скудненько да сокращённо передаёте ему информацию! – требовательно заявила Аврора Владимировна. – Я ведь писатель, дорогой сэр Джон, – затянула она во второй раз и, обратившись к Феофилакту, возмущённо воскликнула: – Что ж вы молчите? Переводите, переводите! Делайте своё дело! – и Щёткин залепетал что-то на непонятном для нашей героини английском.

– Сэр Джон приятно удивлён, что встретил на своём жизненном пути настоящую писательницу. Он хочет поподробнее узнать, о чём именно вы пишете, – без особого энтузиазма выдавил из себя толмач.

– В настоящее время я работаю над мемуарами, – обстоятельно начала Дроздомётова. – Вот уже написала два тома о своей нелёгкой жизни. В них, дорогой сэр Джон, я подробнейшим образом отобразила все события своего нелёгкого детства и тернистой юности. В данный момент взялась за третий том, но... Сами понимаете... Тут премьера дочери, а это святое. Пришлось покинуть письменный стол и пуститься в путь, вон из Москвы в эту... В

эту... Как бы помягче выразиться-то?! – теребя носовой платок, терзалась Аврора Владимировна, надувая раскрасневшиеся щёки свои. – Осрань, короче говоря, – заключила она, не рискнув придумать ничего обидного и оскорбительного о ненавистном городе, в котором вот уж более пяти лет обитала её единственная любимая дочь.

– О! Невоо во эй нэсво эй-э-э-й?! – поразившись, воскликнул мистер Баскервиль (по крайней мере, именно такие звуки услышала наша героиня из его уст).

– Сэр Джон говорит, что очень заинтересовался вашими книгами. Он желает как можно скорее и поподробнее узнать, о чём вы там пишете. Он был бы счастлив услышать в эту волшебную ночь сюжет, так сказать, и фабулу ваших произведений. И ещё сэр Джон спрашивает, нет ли у вас с собой вашей книги? Он хочет увезти её к себе на родину, перевести на английский язык и выпустить в одном из популярнейших издательств Лондона. Вы, естественно, получите гонорар, поскольку сэр Баскервиль не сомневается, что мать такой гениальной актрисы, как Арина Метёлкина, ничего, кроме шедевра, написать не может, – бросая томно-печальные взгляды на Лилю Сокромецкую, тоскливо перевёл Феофилакт.

– Правда? – вне себя от счастья, возопила мадам Дроздомётова. – Надо же! Какой удивительный этот английский язык! Надо же! Наш гость умудрился в такое малюсенькое предложение уместить так много смысла! – изумилась она и тут же подумала о том, что если б и наш великий русский язык был столь же лаконичным, как и язык Шекспира, вряд ли она смогла бы написать два внушительных тома о своем нелёгком детстве и тернистой юности. – Я с превеликим удовольствием, дорогой сэр Джон, поведаю вам и фабулу, и сюжет своих мемуаров, несмотря на то что это, по-моему, практически одно и то же. А насчёт книг должна вас разочаровать. К сожалению, мои воспоминания в России пока никого не заинтересовали и не были напечатаны, – сказала Аврора Владимировна, вздохнув с невыразимой грустью непонятого при жизни гения. На что сэр Джон отреагировал, как подобает истинному джентльмену: возведя свои жабы глаза к потрескавшемуся потолку, напоминающему физическую карту земного шара с его реками, океанами, пустынями, горами и низменностями, и ударив себя в знак негодования по острым коленкам, забормотал что-то слишком уж эмоционально.

– Наш уважаемый гость говорит о несправедливости и, прямо скажем, наплевательском отношении в вашей стране к искусству в целом и к творческим людям в частности. Он и сам не раз сталкивался с этой проблемой. Ещё мистер Баскервиль от всего сердца желает помочь как вам с вашими книгами, так и вашей дочери с её театральной карьерой. А сейчас он всё-таки не прочь послушать, о чём вы пишете, Аврора Владимировна, – вымолвил Щёткин, безнадежно взглянув на Лилю.

– О! Я с великим удовольствием поведаю вам об этом! – восторженно воскликнула мадам Дроздомётова и оживлённо затараторила, не обращая внимания на страдания Феофилакта: – Я начала историю своей жизни ещё до рождения. Согласитесь, ведь это очень существенно! Крайне важно, кто твои родители, как они познакомились, кто их родители, родители их родителей... Ведь это так называемое семейное древо, на котором ты, – и она ткнула указательным пальцем в Щёткина, попав бедолаге между рёбер, – вы или я всего лишь новые побеги – проще говоря, черенки. Посему я сочла своим долгом начать первый том своих мемуаров с того, откуда пошла моя основная ветвь со стороны матери.

Мать моя – Зинаида Матвеевна (в девичестве Редькина) родилась в деревне Харино Вологодской области. Произошла она из многодетной семьи... – степенно вещала Аврора Владимировна, упиваясь собственным рассказом. Щёткин, держась за ребро, красный от набирающего обороты темпа мадам Дроздомётовой, запинаясь, силился ничего не упустить из её насыщенного повествования. Сэр Баскервиль то и дело кивал головой в знак того, что ему всё ясно и никаких вопросов к гениальной и неоценённой по достоинству на своей исторической родине писательнице у него пока нет. – Моя бабка (мать моей матери) Авдотья

Ивановна родила от моего деда (Матвея Терентьевича) шестерых детей. Каждый год рожала, пока тот не умер от воспаления лёгких! – тут мистер Джон сокрушительно схватился за голову и, не раздумывая, выразил нашей героине свои соболезнования о безвременно почившем деде её, Матвее Терентьевиче Редькине – мощной ветви, превратившейся со временем чуть ли не в основополагающий ствол родового Аврориного древа.

Да! Так вот случилось! – всхлипнула Дроздомётова скорее ради приличия, чем по поводу преждевременной кончины своего предка, которого в глаза отродясь не видела, и продолжила как ни в чём не бывало: – Дед умер, а бабка моя осталась с шестью детьми на руках. Старший – Василь Матвеевич, резкий, характерный человек, всю жизнь гулял от своей жены Полины. Он всем вечно дарил на праздники валенки и платки! – Аврора Владимировна любила рассказывать истории о своих родственниках, но ещё больше она любила рассказывать о собственной жизни – тут её вообще невозможно было остановить – она могла говорить часами, прерываясь, только чтоб горло промочить или ответить на очередной вопрос слушателей. – Дальше шла Антонина, – вдохновилась на длинный рассказ сочинительница, но Теофилакт перебил Дроздомётову:

– Сори, сори! – возмущённо воскликнул он. – Помилуйте, я же вам не электронный переводчик! Я не могу так быстро схватывать сложную информацию! Кто за кем шёл, простите! Кто кому кем доводился! И потом... – замялся он. – Неужели это настолько важно? Нельзя ли все эти ваши корни опустить?

– Куда опустить? – Аврора Владимировна вытаращила на Щёткина непонимающе-раздражённые глаза. – Не было бы этих, как вы выражаетесь, корней – не было б и меня! И не сидела бы я тут перед вами сейчас! И никаких мемуаров не было бы! И не играла бы Ариночка сегодня с таким оглушительным успехом Чацкого!

– О Чатский! Чатский! – с нескрываемым упоением и восторгом воскликнул сэр Джон, понимая кивая головой.

– Не филоньте! Переводите, что вам говорят! И почему у нас никто не хочет делать своё дело?! Вот от этого-то и все наши беды! Между прочим, от моего рассказа зависит не только судьба моих книг, но и будущее моей единственной несчастной дочери! – требовательно прогремела Дроздомётова.

– Ну хорошо, хорошо, только не частите – я ведь не успеваю за вами, – жалостливо простонал толмач и покосился в сторону, где минут десять назад сидела Лиля. Теперь её обшарпанный стул был пуст – то ли Сокромецкая поняла, что ждать переводчика уж нет никакого смысла, то ли роль Софьи так вымотала её, что она решила покинуть банкет и пораньше лечь спать. Кто знает, какие мысли заставили Лилию подняться со стула и уйти домой?

Дядя Степан с поломойкой-билетёршей-актрисой по совместительству уже не вспоминали былое, не пели песен, не перекрикивали друг друга – они спали мёртвым сном, уронив головы на стол и храпя на весь буфет.

Остап Ливонович, оживлённо жестикулируя, что-то горячо внушал своей самой перспективной и любимой актрисе. Арина слушала его затаив дыхание, изредка кивая головой в знак согласия.

Вероника Бубышева, составив несколько стульев, свернулась на самодельном ложе калачиком и солировала в заливиستم хоре Степана и тётки Фёклы знатным басом.

– Итак, после Василия у моей бабки с дедом родилась дочь Антонина.

– Тосбебат ортенфтээ роинта ту вэл зее Антонина, – перевёл Щёткин, вытирая пот со лба.

– Впоследствии эта самая Антонина (моя тётка) приехала в Москву и очень удачно вышла замуж за мастера зингеровских швейных машинок – Александра Вишнякова. И уже

у них с Вишняковым родилась дочь Милочка, которая стала художницей. Всё понятно? Спроси у мистера Джона, спроси, всё ли ему ясно! – настаивала Дроздомётова.

– Всё, всё, – ответил Феофилакт, переводя дух.

– Вот и славно! Эта самая Милочка, моя двоюродная сестра...

– Как? – вдруг удивился Щёткин.

– Что – как?

– Почему это она вам сестра?

– Да потому что Антонина с моей матерью родными сёстрами друг другу приходились! Вот почему! Вы, Феофилакт, сами ничего не понимаете! Как же вы можете правильно и чётко донести мою историю до нашего уважаемого сэра Джона?! – возмутилась наша героиня.

– Я и уточняю, чтобы ничего не перепутать! Ужас какой-то – Василии, Авдотьи, Матвеи, Милочки! Тут же разобраться сначала надо, а не просто так человеку переводить непонятно что! – в свою очередь возмутился Щёткин – он злился, что Лиля ушла вот так беззвучно, по-английски.

– Так вы разобрались?

– Разобрался, – буркнул толмач.

– Тогда продолжим. Так вот, эта Милочка окончила художественное училище и всё, помню, плакаты агитационные рисовала для фабрик там, для заводов... А отец-то её, Вишняков, ну тот, что машинки швейные починал, умер в расцвете лет от рака пищевода. Вслед за ним ушла и Милочкина мать – Антонина. Не смогла, бедняжка, пережить удара судьбы и тоже скончалась, – говорила Аврора Владимировна, медленно, чётко выговаривая каждое слово. Сэр Джон, как только услышал о безвременно почивших родителях кузины нашей героини, снова за голову схватился и со всей силы ударил кулаками по острым коленкам жилистых ног своих.

– После Антонины бабка моя, Авдотья Ивановна, родила Павла, – затянула с новой силой мадам Дроздомётова. – Он был ужасный неудачник, а потому и самый её любимый сын. Не знаю, как у вас в Англии, а у нас всегда так: несчастное дитя – оно самое дорогое.

– Мистер Баскервиль желает знать, в чём заключалось несчастье Поля, – заинтересовавшись историей Авроры Владимировны, решил уточнить Щёткин. Кажется, если бы сейчас Лилия Сокромецкая всё ещё сидела на своём обшарпанном стуле, Феофилакт ни за что не променял бы захватывающую сагу нашей героини на ухаживания за второсортной актрисой.

– Не Полем, а Павлом его звали. Когда возраст подошёл, он женился на Ирине Карловне... И только у них родилась дочь Виолетта, как его посадили!

– За что? Почему? – изумился Щёткин и тут же поведал сию информацию неизвестному лондонскому режиссёру. Тот внезапно вскочил со стула, подпрыгнул довольно высоко к свисающей с потолка штукатурке (даже рукой до неё достал) и завопил душераздирающим голосом что-то жалостливое. На левой щеке Феофилакты заблестела скупая мужская слеза. – За что ж это его? – навзрыд спросил он.

– А ни за что! На завод, где он работал, кто-то привёз прокламации Троцкого. В обед в клуб понабилось битком народу. Все стояли и слушали. И всех их осудили как политических. Павла сначала на десять лет, но отсидел он ровно восемнадцать, – сказала Аврора Владимировна с некоторой гордостью. Слушатели совсем растрогались – они возмущённо кричали, обвиняли неизвестно кого, в конце концов всласть наревелись друг у друга на груди и потребовали продолжения рассказа.

– Да... Такие уж были времена... Ничего не поделаешь, – задумчиво изрекла Дроздомётова и поведала оптимистичным тоном, будто желая утешить своих восприимчивых и мягкосердечных слушателей, дальнейшую историю своих многочисленных родственников. В конце её повествования сэр Баскервиль рыдал, не сдерживаясь и не стесняясь: полетело в

тартарары всё его английское хвалёное хладнокровие – подкачала выдержка. Разбилась, так сказать, о неприступные скалы российской действительности в целом и о ячейки советского общества в качестве семьи, где родилась наша героиня, в частности. Сага Авроры Владимировны о нелёгкой судьбе своей и озлобленных, опалённых войной родственников с их огрубевшими, искалеченными душами была в тысячу раз трагичнее не только истории господина Черняховского о крайне драматической ситуации городского драматического театра (пардон за вынужденную тавтологию), но и самой печальной повести на свете, написанной более трёх веков назад гениальным соотечественником сэра Джона.

Когда повествование мадам Дроздомётовой коснулось судьбы её и её родителей, катарсису сэра Джона не было предела – нырнув ненароком от переизбытка чувств в пышную, соблазнительную грудь рассказчицы, он заревел белугой, громко стелая и хлюпая носом.

– Как жестока судьба, говорит мистер Баскервиль, – перевёл Щёткин, сморкаясь в синий в чёрную клетку носовой платок. – Как непредсказуема наша жизнь! – воскликнул он, самостоятельно развивая мысль сэра Джона, который окончательно утоп в бюсте великой писательши и, кажется, ни в какую не желал оттуда выныривать.

– Это точно. Это вы правы, – поддержала их Аврора Владимировна и, взяв белобрысую голову англичанина с розовеющей лысиной (очень напоминающей поросёный пяточок) в свои руки, с умилением посмотрела в его жабы глаза и жизнеутверждающим тоном прогремела: – Да вы не волнуйтесь так, милый мой!

И как ни в чём не бывало продолжила неторопливый, подробный свой рассказ. (Замечу в скобках, что «актёры» – дядя Степан с полемойщицей-билетёршей всё так же мирно похрапывали, плавно и незаметно ни для кого съехав со своих стульев на пол. Остап Ливонович что-то неумоимо доказывал Арине – он всё говорил и говорил и, казалось, мог вещать, подобно лидеру кубинской революции, без остановки на протяжении шести часов. Арина внимательно слушала его. Лишь однажды она повернулась лицом к матери и на мгновение задержала удивлённый взгляд как раз в тот момент, когда сэр Джон ревмя ревел на аппетитной груди её родительницы. Вероника Бубышева видела сто первый сон – её сознание было отключено и не предчувствовало ничего дурного, в то время как составленные ею стулья медленно, но верно разъезжались в разные стороны.) Щёткин с вытаращенными от изумления и потрясения глазами только успевал переводить, вопрошая в промежутках:

– Это ж сюрреализм какой-то! Нет! Это хорор настоящий! Фильм ужасов! Честное слово! Восемнадцать лет каторги ни за что! Дореволюционные диваны, клопы, сундуки!

– Да! Так почти все после войны жили, – со знанием дела заметила Аврора Владимировна и с напускной важностью продолжила свой рассказ: – Мамаша моя окончила бухгалтерский техникум и перешла работать с вагоностроительного на часовой завод кассиром. Вот там-то она и познакомилась с моим отцом – Владимиром Ивановичем Гавриловым. Он служил библиотекарем при заводе.

– Зауэл тзее интеллигентэн! – выкрикнул сэр Джон.

– Наверное, ваш родитель, говорит мистер Баскервиль, очень интеллигентный и начитанный человек, раз работал в библиотеке и имел дело, если можно так выразиться, с книгами? – торопливо перевёл Феофилакт.

– Ну... Э... Кхе-кхе... – промямлила мадам Дроздомётова. Она задумалась – вопрос сэра Джона явно смутил её, сбил с панталыку, в краску даже вогнал. Ну, право же, не могла ведь она выложить почётному иностранному гостю, небезызвестному к тому же режиссёру, от которого зависела не только судьба её единственной любимой дочери, но и будущее собственных мемуаров, всё о своём отце?!

О том, что Владимир Иванович был взбалмошным до идиотизма холериком и психопатом, состоявшим с тридцати девяти лет на учёте в психдиспансере?! Что он периодически лежал в самых разнообразных клиниках для душевнобольных, причём по собственному

желанию – сделает спьяну какую-нибудь непостижимую пакость и бежит к врачу – помогите, обострение, мол, ничего не могу с собой поделаться!

Много о чём пришлось умолчать нашей героине ради актёрской карьеры обожаемого чада и публикации собственных книг в известном лондонском издательстве.

Не упомянула она в своём рассказе, что её отец был непроходимым бабником и скандалистом, что, собственно, и послужило причиной развода супругов. Но, несмотря на расставание, Зинаида Матвеевна с Владимиром Ивановичем встречались до конца дней своих, держа этот факт в строжайшем секрете. Об их связи стало известно лишь после смерти обоих из писем, которые они хранили в одинаковых жестяных коробках из-под конфет.

Аврора Владимировна как-то незаметно для себя опустила вторую жену отца, страдающую тяжелой формой наследственной шизофрении, – Галину Калерину, с которой тот познакомился в психиатрической больнице...

Наша героиня и внешность отца не потрудились описать – стыдно ей вдруг отчего-то стало. Не поведала она знаменитому в своих кругах английскому режиссёру, что Владимир Иванович из-за роскошной выющейся иссиня-чёрной шевелюры в сочетании с выпуклыми, чёрными же, всегда готовыми к наступлению глазами очень напоминал демона с полотна Врубеля...

Мадам Дроздомётова сразу перескочила к эпизоду знакомства собственных родителей:

– Моя мать долго не подпускала его, сомневалась, считая невозможным привести Гаврилова в перенаселённую девятиметровку – ведь у отца-то своего угла не было. И потом, он младше её был на десять лет... Но после инцидента на профсоюзном собрании она поняла, что любит его без памяти, и в конце концов сдалась.

– Любопытно, любопытно! Это что ж такое нужно сделать, чтобы покорить женщину?! – с нескрываемым интересом спросил Щёткин, и тусклые глаза его заблестели.

– Моя родительница была не только кассиром на часовом заводе, но ещё и активным членом месткома. В тот роковой день почти все сотрудники сидели в актовом зале – мамаша вещала с трибуны. Она распределяла путёвки на Черноморское побережье. На собрании творилось ужас что! Путёвок было десять, а желающих отдохнуть – сорок человек. И когда накал страстей достиг своего апогея, двери актового зала распахнулись, и внутрь на четвереньках вполз мой папаша. Он елозил на карачках по рыжему паркету, неумолимо приближаясь к объекту своей любви. Изо рта у него шла пена. Все подумали, что он эпилептик, хотели «Скорую» вызвать, потом чуть не побили его, потому как решили, что он использует свою болезнь с целью получения путёвки. Но отец уж почти дополз до моей матери... Она бросилась к нему навстречу, он припал к её знатной груди, и оба в тот момент ощутили неземное блаженство. Пена, которая обильными шматками стекала на мамин серый костюм, оказалась обыкновенным хозяйственным мылом – он специально разжевал его, чтобы её разжалобить. В тот день она приняла решение и всё-таки привела Гаврилова в перенаселённую девятиметровку.

– Значит, чтобы завоевать сердце женщины, нужно нажраться хозяйственного мыла? – поразился Щёткин. – Извините, пожалуйста, что перебил. Что же, что же было дальше?

– А через три года появилась я, – сказала Дроздомётова и замолчала.

Ей показалось, что за окнами стало чуть светлее, что скоро наступит утро, надо бы пообщаться с дочерью, вместо того, чтоб пересказывать содержание второго тома своих мемуаров. Но...

Дочери, видимо, было не до неё. Она сидела и внимательнейшим образом слушала Остапа Ливоновича – неутомимого оратора, который вот-вот грозил переплюнуть великого риторика всех времён и народов, кубинского президента и премьер-министра.

Снизу, из-под стола, раздавался дружный залиvistый храп в два голоса.

Вероника Бубышева, лёжа ничком на стульях, бурно выясняла во сне с кем-то отношения (не иначе как с Ларионом); её переживший липосакцию живот переросшим астраханским арбузом торчал из огромной щели между составленных стульев...

– А потом? Сэр Джон крайне заинтересовался вашей историей, он понимает, конечно, что всё это нужно не слушать, а читать, но всё же просит вас рассказать, что стало с Зинаидой Матвеевной, Гавриловым, воровкой Екатериной, плакатишкой Милочкой, с вами, в конце концов! – живо перевёл Феофилакт требование мистера Баскервиля.

– Поначалу мы все жили в девятиметровке. Геня (если вы помните, это мой сводный брат-придурок) поддался дурному влиянию и попал в скверную компанию воров-малолеток. Сначала он, наверное, это назло матери делал. Ну, за то, что та привела моего папашу, а потом втянулся незаметно... И говорил он так чудно! – вроде на русском языке, а ничего не поймёшь. Потом родители развелись... Мы переехали в двухкомнатную квартиру, с папашей я стала видаться по выходным.

В новой школе... – с блаженной улыбкой на устах говорила Аврора Владимировна, – у меня случилась любовь. Любовь первая, чистая, платоническая... С однокашником. Но, знаете ли, самая сильная! Не поверите, но вот сейчас, уж почти прожив свой век, я понимаю, что это и была любовь всей моей жизни... Его звали Вадиком Лопатыным, мы долго дружили с ним, но потом он уехал с родителями в Мурманск, и я больше никогда его не видела. Знаете, что он подарил мне на прощание? Фигурные коньки. Да... Разбил копилку и все деньги на них потратил! Сумасшедший! – с нескрываемой нежностью сказала она, вспомнив ясные голубые глаза Вадика, но тут же, словно очнувшись, затараторила так, будто ей надоела собственная история и она хотела поскорее её завершить: – В восемнадцать лет я вышла замуж за Юрку Метёлкина (он учился в параллельном классе), родила Аришеньку, – и мадам Дроздомётова с гордостью кивнула в сторону одарённой дочери. – Вышла по любви, но, видите ли, сэр Джон, после армии Юрик очень изменился – стал грубым, жадным. Он настоял, чтоб я устроилась в одну из самых фешенебельных гостиниц того времени, и в нём вдруг пробудилась такая неистовая ревность, что он стал всюду следовать за мной, поджидать... Как тень. Не хочется хвастаться, но у меня всегда было море поклонников... – между делом заметила наша героиня, смущённо потупив взор.

– О! Это неудивительно! Мистер Баскервиль поражён вашей красотой! – искренне воскликнул Феофилакт.

– Да ну что вы! Господь с вами! Какая уж теперь красота! Ничего не осталось! – Аврора Владимировна вздохнула с печалью и поспешила продолжить повесть свою, поскольку комплименты последнее время не приносили ей радости – скорее конфузили, да и только. – Вскоре муж мой начал пить, а уж когда я своими глазами увидела, как он изменил мне, то развелась с ним, забрала дочь и ушла жить к матери. Терпение моё лопнуло! – с горечью воскликнула мадам Дроздомётова, а сэр Джон понимающе закивал головой.

– Мистер Баскервиль поражается, как можно изменить с кем-то такой очаровательной, умной женщине! – повернул Щёткин.

– Спасибо, спасибо вам, дорогой, за поддержку, – кротко сказала Аврора Владимировна. – Трудное было время. Всё на меня сразу навалилось – и развод, и на работе, в гостинице, проблемы... Оклеветали меня, сэр Джон, ох как гнусно оклеветали! – и она с чувством незаслуженно поруганного собственного достоинства покачала головой. – Меня обвинили в воровстве. Но, в конце концов, правда восторжествовала – истинную виновницу нашли. Я же уволилась по собственному желанию и уже через день устроилась на новую работу в представительство одной из республик, некогда входящих в состав Закавказской Федерации. Мне помог туда устроиться Фазиль Маронов – знаменитый, талантливейший певец, который долгое время жил в гостинице на этаже, где я дежурила.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.